

Максим Горький

# Городок Окуров



# Максим Горький

## Городок Окуров

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=172735](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172735)  
На дне. Избранное : Эксмо; Москва; 2003  
ISBN 5-699-07922-X*

### **Аннотация**

«Волнистая равнина вся исхлестана серыми дорогами, и пестрый городок Окуров посреди нее – как затейливая игрушка на широкой сморщенной ладони.

Из густых лесов Чернораменя вытекает ленивая речка Путаница; извиваясь между распаханых холмов, она подошла к городу и разделила его на две равные части: Шихан, где живут лучшие люди, и Заречье – там ютится низкое мещанство...»

# Максим Горький

## Городок окурров

*«...уездная, звериная глушь».*

*Ф. М. Достоевский*

Волнистая равнина вся исхлестана серыми дорогами, и пестрый городок Окурров посреди нее – как затейливая игрушка на широкой сморщенной ладони.

Из густых лесов Чернораменья вытекает ленивая речка Путаница; извиваясь между распаханых холмов, она подошла к городу и разделила его на две равные части: Шихан, где живут лучшие люди, и Заречье – там ютится низкое мешанство.

Разрезав город, река течет к юго-западу и теряется в ржавом Ляховском болоте; оцетинилось болото темным ельником, и уходит мелкий лес густым широким строем в серовато-синюю даль. А на востоке, по вершинам холмов, маячат в бледном небе старые, побитые грозами деревья большой дороги в губернию.

Кроме города, на равнине, у опушки Черной Рамени приткнулось небольшое село Воеводино да две деревни: к северу – Обносково, а к востоку – Балымеры, Бубновка тож; вот и всё вокруг Окурова.

Обилие вод в краю насыщает летом воздух теплой влагой и пахучей духотой; небо там бледное и мутное, точно запо-

тело, солнце – тускло, вечерние зори – зловеще багряны, а лупа – на восходе – велика и красна, как сырое мясо.

Осенью над городом неделями стоят серые тучи, поливая крыши домов обильным дождем, бурные ручьи размывают дороги, вода реки становится рыжей и сердитой; городок замирает, люди выходят на улицы только по крайней нужде и, сидя дома, покорно ждут первого снега, играют в козла, дурочки, в свои козыри, слушают чтение пролога, минеи, а кое-где – и гражданских книг. Снег падает густо и обильно, тяжкими хлопьями, заваливая улицы города едва не до крыш домов. По ночам на равнине заунывно воют волки; звезды крупны, синеваты и холодны, а зловещая Венера зелена, точно камень изумруд.

Город имеет форму намогильного креста: в комле – женский монастырь и кладбище, вершину – Заречье – отрезала Путаница, па левом крыле – серая от старости тюрьма, а на правом – ветхая усадьба господ Бубновых, большой, облупленный и оборванный дом: стропила па крыше его обнажены, точно ребра коня, задранного волками, окна забиты досками, и сквозь щели их смотрит изнутри дома тьма и пустота.

На Шихане числится шесть тысяч жителей, в Заречье около семисот. Кроме монастыря, есть еще две церкви: новый, чистенький и белый собор во имя Петра и Павла и древняя деревянная церковка Николая Мирликийского, о пяти разноцветных главах-луковицах, с кирпичными контрфорсами по бокам и приземистой колокольней, подобной кринолину

и недавно выкрашенной в синий и желтый цвета.

Мещане в городе юркие, но – сытенькие; занимаются они торговлей красным и другим товаром на сельских ярмарках уезда, скупают пеньку, пряжу, яйца, скот и сено для губернии; жены и дочери их вяжут из разноцветных шерстей туфли, коты, шарфы, фуфайки и дорожные мешки, – это рукоделие издавна привила им монастырская школа, где почти все они учились грамоте. Город славится вязаньем, посылает его к Макарию на ярмарку, и, должно быть, эта работа развила у жителей любовь к яркой окраске домов.

Главная улица – Поречная, или Бережок, – вымощена крупным булыжником; весной, когда между камней пробьется молодая трава, градской голова Сухобаев зовет арестантов, и они, большие и серые, тяжелые, – молча ползают по улице, вырывая траву с корнем. На Поречной стройно вытянулись лучшие дома, – голубые, красные, зеленые, почти все с палисадниками, – белый дом председателя земской управы Фогеля, с башенкой на крыше; краснокирпичный с желтыми ставнями – головы; розоватый – отца протоиерея Исаии Кудрявского и еще длинный ряд хвастливых уютных домиков – в них квартировали власти: войсковой начальник Покивайко, страстный любитель пения, – прозван Мазепой за большие усы и толщину; податной инспектор Жуков, хмурый человек, страдавший запоем; земский начальник Штрехель, театрал и драматург; исправник Карл Игнатьевич Вормс и развеселый доктор Ряхин, лучший артист

местного кружка любителей комедии и драмы.

Только почтмейстер Кубарев, знаменитый цветовод, да казначей Матушкин жили на Стрелецкой – эта улица одним концом, разрезая Поречную, выходила на берег реки, а другим уперлась в базарную площадь у ворот монастыря.

В городе много садов и палисадников, – клен, рябина, сирень и акации скрывали лица домов, сквозь зелень приветливо смотрели друг на друга маленькие окна с белыми занавесками, горшками герани, фуксии, бегонии на подоконниках и птичьими клетками на косяках.

Жили на Шихане благодушно и не очень голодно, предужказаниям начальства повиновались мирно, старину помнили крепко, но, когда встречалась надобность, гибко уступали и новым требованиям времени: так, заметив избыток девиц, мещанство решило строить прогимназию.

– Всех девок, видно, замуж не выдашь, – стало быть, пусть идут на службу, в учительницы!

Говорилось тоже, что хорошо бы и гимназию иметь: деревня год от году всё беднеет, жить торговлей становится трудно, ремесло кормит всё хуже, в губернии учить детей – дорого, а учить их надобно: доктора, адвокаты и вообще ученый народ живет сытно.

По праздникам молодежь собиралась в поле за монастырем играть в городки, лапту, в горелки, а отцы и матери сидели у ограды на траве и, наблюдая за игрой, вспоминали старину.

Заезжие фокусники и разные странствующие «артисты» собирали в «Лиссабоне» полный зал; спектакли местного кружка любителей тоже посещались усердно, но особенно были любимы светские концерты местного хора, которыми угощал горожан Мазепа – зимою в «Лиссабоне», а летом на городском бульваре.

Рыжий глинистый обрыв городского берега был укреплен фашинником, а вдоль обрыва город устроил длинный бульвар, густо засадив его топодем, акациями, липой; в центре бульвара голова и Покивайко выстроили за свой счет красную беседку, с мачтой на крыше, по праздникам на мачте трепался национальный флаг. Две лестницы спускаются от беседки по обрыву, под ним летом стояли купальни: полосатая – голубая с белым – Фогеля, красная – головы и серая, из выгоревших на солнце тесин – «публичная». От купален на реку ложатся разноцветные пятна, и река тихо полощет их кисею.

Другой берег, плоский и песчаный, густо и нестройно покрыт тесною кучей хижин Заречья; черные от старости, с ключьями зеленого мха на прогнивших крышах, они стоят на песке косо, криво, безнадежно глядя на реку маленькими большими глазами: кусочки стекол в окнах, отливая опалом, напоминают бельма.

Среди измятой временем, расшатанной половодьем толпы мещанских домишек торчит красная кирпичная часовня во имя Александра Невского: ее построил предок вымерших

помещиков Бубновых на том месте, где его, – когда он, по гневному повелению Павла I, ехал в ссылку в Тобольск, – догнал курьер с приказом нового царя немедля возвратиться в Питер. Часовню эту почти на треть высоты заметало сором и песком, кирпич ее местами выломан во время драк и на починку печей, и даже железный, когда-то золоченый, крест – согнут. Больше никаких приметных зданий в слободе не было, если не считать «Фелицатина райшка», стоявшего в стороне от нее и выше по течению реки.

Ежегодно в половодье река вливалась в дворы Заречья, заполняла улицы – тогда слобожане влезали на чердаки, удили рыбу из слуховых окон и с крыш, ездили по улицам и по реке на плотках из ворот, снятых с петель, ловили дрова, унесенные водою из леса, воровали друг у друга эту добычу, а по ночам обламывали перила моста, соединявшего слободу с городом.

Весною, летом и осенью заречные жили сбором щавеля, земляники, охотой и ловлею птиц, делали веники, потом собирали грибы, бруснику, калину и клюкву – всё это скупало у них городское мещанство. Человека три – в их числе Сима Девушкин – делали птичьи клетки и садки, семейство Пушкаревых занималось плетением неводов, Стрельцовы работали из корневища березы шкатулки и укладки с мудреными секретами. Семеро слобожан работало на войлочном заводе Сухобаева, девять человек валяло сапоги.

Войлочники и валяльщики сапог пили водку чаще и боль-



ше других, а потому пользовались общим вниманием и уважением всех слобожан. Иногда, по праздникам, лучший мастер по войлоку и один из сильнейших бойцов слободы, Герасим Крыльцов, вдруг начинал нещадно бить почитателей своих, выкрикивая, точно кликуша:

– Спаиваете вы меня, анафемы! Погибаю через вас – ух!

Но против него выходил красавец и первый герой Вавило Бурмистров и, засучивая рукава, увещевал его:

– Стой, Гараська! Ты как можешь, злодей, избивать христианский народ, который меня любит и уважает, а? Тебе чего жалко? Ну, держись!

Побежденный Герасим плакал:

– Не денег, братцы, жалко, жизни – жизни жалко моей!

Между городом и слободою издревле жила вражда: сытое мещанство Шихана смотрело на заречан, как на людей никчемных, пьяниц и воров, заречные усердно поддерживали этот взгляд и называли горожан «грошелюбами», «пятакоедами».

С Михайлова дня зачинались жестокие бои на льду реки, бои шли всю зиму, вплоть до масленой недели, и, хотя у слобожан было много знаменитых бойцов, город одолевал численностью, наваливался тяжестью: заречные всегда бывали биты и гонимы через всю слободу вплоть до песчаных бугров – «Кобыльных ям», где зарывалидохлый скот.

Чаще всего из города в Заречье являлась полиция: с обысками, если случалась кража, ради сбора казенных повинно-

стей, описи слободских пожитков за долги и для укрощения частых драк; всякие же иные люди приходили только по ночам, дабы посетить «Фелицатин раишко».

«Раишко» – бывшая усадьба господ Воеводининых, ветхий, темный и слепой дом – занимал своими развалинами много места и на земле и в воздухе. С реки его закрывает густая стена ветел, осин и берез, с улицы – каменная ограда с крепкими воротами на дубовых столбах и тяжелой калиткой в левом полотнище ворот. У калитки, с вечера до утра, всю ночь, на скамье, сложенной из кирпича, сидел большой, рыжий, неизвестного звания человек, прозванный заречными – Четыхер.

До Четыхера сторожем был младший брат Вавилы Бурмистрова – Андрей, но он не мог нести эту должность более двух зим: в холода заречное мещанство волчьей стаей нападало на развалины дома, отрывая от них всё, что можно сжечь в печи, и многое ломали не столь по нужде, сколько по страсти разрушать, – по тому печальному озорству, в которое одевается тупое русское отчаяние. Приходилось грудью защищать хозяйское добро – против друзей и даже родного брата: на этом деле и покончил Андрей свою жизнь – ему отбили печенки.

Умирая, он хрипел:

– Фелицата, – за тебя стоял, – прощай!

Она плакала, закрывая лицо белыми руками, потом, с честью похоронив защитника, поставила над его могилою хо-

роший дубовый крест и долго служила панихиды об упокоении раба божия Андрия, но тотчас же после похорон съездила куда-то, и у ворот ее «раишка» крепко сел новый сторож – длиннорукий, квадратный, молчаливый; он сразу внушил бесстрашным заречанам уважение к своей звериной силе, победив в единоборстве богатырей слободы Крыльцова, Бурмистрова и Зосиму Пушкарева.

Широкий, двухэтажный, с антресолями, колоннами и террасою, воеводинский дом развалился посередине двора, густо заросшего бурьяном. Вокруг дома лежали остатки служб – Фелицатино топливо; над развалинами печально качались вершины деревьев парка. «Раишко» помещался во втором этаже, его три окна почти всегда были прикрыты решетчатыми ставнями, над ним – как нос над подбородком старика – нависла крыша, обломанная тяжестью снега.

Скрытая за стеною в глубине двора жизнь «Фелицати-на раишка» была недоступна наблюдениям заречных людей. Летом горожане являлись с реки, подъезжая в лодках к парку или крадучись берегом по кустам, зимою они проезжали слободской улицей, кутаясь в башлыках или скрывая лица воротниками шуб.

Знали, что у Фелицаты живут три девицы: Паша, Розочка и Лодка, что из хороших людей города наиболее часто посещают «раишко» помощник исправника Немцев, потому что у него хворающая жена, податной инспектор Жуков, как человек вдовый, и доктор Ряхин – по веселости характера.

Знали также, что, когда к Фелицате съезжалось много гостей, она звала на помощь себе женщин и девиц слободы; знали, кто из них ходит к ней, но относились к этому промыслу жен и дочерей хладнокровно, деньги же, заработанные ими, отнимали на пропой.

Бородатые лесные мужики из Обноскова, Балымер и других сел уезда, народ смиренный и простодушный, даже днем опасались ездить через слободу, а коли нельзя было миновать ее – ездили по трое, по четверо. Если же на улице слободы появлялся одинокий воз, навстречу ему, не торопясь, выходили любопытные слобожане, – тесно окружая мужика, спрашивали:

– Что, дядя, продаешь?

И, осматривая товар, – крали, а если мужик кричал, жаловался – колотили его, слегка.

Летними вечерами заречные собирались под ветлы, на берег Путаницы, против городского бульвара, и, лежа или сидя на песке, завистливо смотрели вверх: на красном небе четко вырезаны синеватые главы церквей, серая, точно из свинца литая, каланча, с темной фигурой пожарного на ней, розовая, в лучах заката, башня на крыше Фогелева дома. Густая стена зелени бульвара скрывала хвастливые лица пестрых домов Поречной, позволяя видеть только крыши и трубы, но между стволов и ветвей слобожане узнавали горожан и с ленивой насмешкой рассказывали друг другу события из жизни Шихана: кто и сколько проиграл и кто выиграл в кар-

ты, кто вчера был пьян, кто на неделе бил жену, как бил и за что. Знали все городские романы и торговые сделки, все ссоры и даже намерения горожан.

Узнавалась жизнь Шихана через женщин, ходивших на поденщину: полоть огорода, мыть полы в городских учреждениях, продавать ягоды и грибы на базаре и по домам.

Обо всем, что касалось города, Заречье говорило сатирически и враждебно; про свою жизнь рассуждало мало, лениво; больше всего любили беседы на темы общие, фантастические и выходившие далеко за пределы жизни города Окурова.

Любили пение. Летом каждый раз, когда на городском бульваре распевал хор Мазепы, Заречье откликалось ему голосами своих певцов Вавилы Бурмистрова и Артюшки Пистолета, охотника.

Слободской поэт Сима Девушкин однажды изобразил строй души заречных жителей такими стихами:

Позади у нас – леса,  
Впереди – болото.  
Господи! Помилуй нас!  
Жить нам – неохота.

Скушно, тесно, голодно —  
Никакой отрады!  
Многие живут лет сто —  
А – зачем их надо?

Может, было б веселей,  
Кабы вдоволь пищи...  
Ну, а так – живи скорей,  
Да и – на кладбище!

Первой головою в Заречье был единодушно признан Яков Захаров Тиунов.

Высокий, сухой, жилистый – он заставлял ждать от него суетливых движений, бойкой речи, и было странно видеть его неспешную походку, солидные движения, слышать спокойный глуховатый голос.

Жизнь его была загадочна: подростком лет пятнадцати он вдруг исчез куда-то и лет пять пропал, не давая о себе никаких вестей отцу, матери и сестре, потом вдруг был прислан из губернии этапным порядком, полубольной, без правого глаза на темном и сухом лице, с выбитыми зубами и с котомкой на спине, а в котомке две толстые, в кожаных переплетах, книги, одна – «Об изобретателях вещей», а другая – «Краткое всемирное позорище, или Малый феатрон».

В то время отец и мать его уже давно померли, сестра, продав хижину и землю, куда-то уехала. Яков Тиунов поселился у повивальной бабки и знахарки Дарьюшки, прозванной за ее болтливость Волянкой. Неизвестно было, на какие средства он живет; сам он явно избегал общения с людьми, разговаривал сухо и неохотно и не мог никому смотреть в лицо, а всё прятал свой глаз, прищуривая его и дергая голо-

вой снизу вверх. По вечерам одиноко шлялся в поле за слободой, пристально разглядывая землю темным оком и – как все кривые – держа голову всегда склоненною немного набок.

По рассказам Дарьюшки, дома кривой читал свои большие книги и порою разговаривал сам с собою; слободские старухи называли его колдуном и чернокнижником, молодые бабы говорили, что у него совесть не чиста, мужики несколько раз пытались допросить его, что он за человек, но – не добились успеха. Тогда они требовали с кривого полведра водки, захотели еще, а он отказал, его побили, и через несколько дней после этого он снова ушел «в проходку», как объяснила Волынка.

Вернулся Тиунов сорокапятилетним человеком, с седыми вихрами на остром – дынею – черепе, с жиденькой седоватой бородкой на костлявом лице, точно в дыму копченном, – на этот раз его одинокое темное око смотрело на людей не пряча, серьезно и задумчиво.

Он снова поселился у Волынки и стал являться всюду, где сходились люди: зимой – в трактире Синемухи, летом – на берегу реки. Оказалось, что он хорошо поправляет изломанные замки, умеет лудить самовары, перебирать старые меха и даже чинить часы. Слобода, конечно, не нуждалась в его услугах, если же и предлагала иногда какую-нибудь работу, то платила за нее угощением. Но город давал Тиунову кое-какие заработки, и он жил менее голодно, чем другие слобо-

жане.

Жизнь его проходила размеренно и аккуратно: утром бабы, будя мужей, говорили:

– Вставай, лежебок! Седьмой час в исходе – уж кривой в город шагает!

И все знали, что из города он воротится около шести вечера. По праздникам он ходил к ранней обедне, потом пил чай в трактире Синемухи, и вплоть до поздней ночи его можно было видеть всюду на улицах слободы: ходит человек не торопясь, задумчиво тыкает в песок черешневой палочкой и во все стороны вертит головой, всех замечая, со всеми предупредительно здороваясь, умея ответить на все вопросы. Речь его носит оттенок книжный, и это усиливает значение ее.

Когда бойкая огородница Фимка Пушкарева, больно побитая каким-то случайным другом сердца, прибежала к Тиуну прятаться и, рыдая, стала проклинать горькую бабью долю, – кривой сказал ей ласково и внушительно:

– А ты, Серафима, чем лаять да выть, подобно собаке, человечий свой образ береги, со всяким зверем не якшайся: выбери себе одного кого – поласковее да поумнее – и живи с ним! Не девушка, должна знать: мужчине всякая баба на час жена, стало быть, сама исхитрись сдержку поставить ему, а не стели себя под ноги всякому прохожему, уважь божье-то подобие в себе!

Слова эти запомнились женщинам слободы, они создали кривому славу человека справедливого, и он сумел получить



за них немало добрых бабьих ласк.

Но, как и раньше, в лунные ночи он ходил по полям вокруг слободы и, склонив голову на плечо, бормотал о чем-то.

Собираясь под ветлами, думающие люди Заречья ставили Тиунову разные мудрые вопросы.

Начинал всегда Бурмистров – он чувствовал, что кривой затеняет его в глазах слобожан, и, не скрывая своей неприязни к Тиунову, старался чем-нибудь сконфузить его.

– Эй, Тиунов! Верно это – будто ты к фальшивым деньгам прикосновенность имел и за то – пострадал напрасно?

– Деньги – они все фальшивые, – спокойно отвечает кривой, нацеливаясь глазом в глаза Вавилы.

Бурмистров смущен и уже немножко горячится.

– Это как же? Ежели я вылью целковый из олова со стеклом и ртутью его обработаю, а казна – из серебра, – что же будет?

– Два целковых и будет! – глуховато говорит Тиунов. – И серебру и олову – одна цена в этом разе. Бумажный рубль есть, значит, и деревянный али глиняный – можно сделать. А вот ежели ты сапог из бересты склеишь – это уж обман! Сапог есть вещь, а деньги – дрянь!

Говорит он уверенно, глаз его сверкает строго, и все люди вокруг него невольно задумываются.

Колченогий печник Марк Иванов Ключников, поглаживая голый свой череп и опухшее желтое лицо, сипло спрашивает:

– Вот, иной раз думаю я – Россия! Как это понять – Россия?

Тиунов, не задумываясь, изъясняет:

– Что ж – Россия? Государство она, бесспорно, уездное. Губернских-то городов – считай – десятка четыре, а уездных – тысячи, поди-ка! Тут тебе и Россия.

Помолчав, он добавил:

– Однако – хорошая сторона, только надо это понять, чем хороша, надо посмотреть на нее, на Русь, пристально...

– Не на этом ли тебе глаз-от вышибло? – спрашивает Бурмистров, издеваясь.

Ключников моргает заплывшими глазами и думает о чем-то, потирая переносицу.

Переваливаясь с боку на бок, Вавило находит еще вопрос:

– Вот – ты часто про мещан говоришь! – строго начинает он. – А ты знаешь – сколько нас, мещанства?

– Мы суть звезды мелкие, сосчитать нас, поди-ка, и неммысленно.

– Врешь! Годов шесть тому назад считали!

– Стало быть, кто считал – он знает. А я не знаю. Трудно, чай, было итог нам подвести? – добавляет он с легоньким вздохом и тонкой усмешкой.

– Отчего?

– Оттого, главное, что дураки – они самосевом рождаются.

Бурмистров, имея прекрасный случай придраться к Тиуну, обиженно кричит:

– Я разве дурак?

Но Ключников, Стрельцов и скромный Зосима Пушкирев, по прозвищу Валяный Черт, – успокаивают красавца.

А успокоив, Ключников, расковыривая пальцем дыру на колене штанины, озабоченно спрашивает:

– Ну, а примерно Москва?

– Что ж Москва? – медленно говорит кривой, закатив темное око свое под лоб. – Вот, скажем, на ногах у тебя опорки, рубаха – год не стирана, штаны едва стыд прикрывают, в брюхе – как в кармане – сор да крошки, а шапка была бы хорошая... скажем – бобровая шапка! Вот те и Москва!

Отдуваясь и посапывая, Ключников обводит кривого взглядом, точно гадального петуха – на святках – меловой чертой, и – лениво говорит:

– А ведь, пожалуй, верно это!

Лежат они у корней ветел, точно куча сора, намытого рекой, все в грязных лохмотьях, нечесанные, ленивые, и почти на всех лицах одна и та же маска надменного равнодушия людей многоопытных и недоступных чувству удивления. Смотрят полусонными глазами на мутную воду Путаницы, на рыжий обрыв городского берега и в белесое окурое небо над бульваром.

Влажный воздух напоен теплым запахом гниющих трав болота, – люди полны безнадежной скукой. Темный глаз кривого оглядывает их, меряет; Тиунов вертит головою так же, как в тот час, когда он подбирает старые, побитые молью ме-

ха.

Молчаливый Павел Стрельцов спрашивает Тиунова всегда о чем-нибудь, имеющем практическое значение.

– А что, Яков Захарыч, ежели водку чаем настоять – будет с этого мадера?

– Не будет! – отвечает Тиунов спокойно и решительно. – Мадеру настаивают – ежели по запаху судить – на солодском корне...

– Врешь ты, кривой! – говорит Бурмистров. – Никто ничего не знает, а ты – врешь!

– Не верь, – советует кривой.

– И не буду! Мне – ото всех твоих слов – плесенью пахнет. Ну какая беспокойная тоска всё это!

Вздыхают, плюют на песок, позевывая, крутят папироски. Вечер ласково стелет на берег теплые тени ветел. Со стороны «Фелицатина райшка» тихо струится заманчивая песня:

Ой ли, милые мои,  
Разлюбезные мои...

– тонким голосом выводит Розочка, а Лодка сочно и убедительно подхватывает:

А пригоже ль вам, бояре,  
Мимо терема идти?..

– Любит эта Розка по крышам лазить! – замечает Стрель-

цов. – Отчего бы?

– С крыш – дальше видно, – объясняет Тиунов.

В мягкую тишину вечера тяжело падает Фелицатин басовой хозяйский голос:

– Розка!

– Ну?

– Чай пить иди!

Ключников, чмокая губами, говорит:

– Хорошо бы теперь почайничать!

– Не сходя с места, – добавляет Зосима Пушкарев. Бурмистров, обращаясь к Стрельцову, укоряет его:

– Еще в позапрошлом году хотел ты чайник завести, чтобы здесь чай пить, – ну, где он?

Круглое лицо Павла озабоченно хмурится, острие глазки быстро мигают, и, шепелявя, он поспешно говорит:

– Я, конечно, его сделаю, чайник! Со свистком хочется мне, чтобы поставил на огонь и – не думай! Он уж сам позовет, когда вскипит, – свистит он: в крышке у него свисток будет!

И вдруг, осененный новой мыслью, радостно объявляет:

– А то – колокольчик можно приспособить! На ручке – колокольчик, а внутри, на воде – кружок, а в кружке – палочка – так? Теперь – ежели крышку чайника прорезать, палочку, – можно и гвоздь, – лучше гвоздь! – пропустить сквозь дыру – ну, вода закипит, кружок закачается – тут гвоздь и начнет по колоколу барабанить – э-ко!

– Ну и башка! – изумленно говорит Зосима, опуская длинные желтые ресницы на огромные мутные глаза.

За рекой, на бульваре, появляются горожане: сквозь деревья видно, как плывут голубые, розовые, белые дамы и девицы, серые и желтые кавалеры, слышен звонкий смех и жирный крик Мазепы:

– Рэгэнт? Та я ж – позовить его!

Заречные люди присматриваются и громко сообщают друг другу имена горожан.

– Исправник вышел! – замечает Бурмистров, потягиваясь, и ухмыляется. – Хорошо мы говорили с ним намеренно, когда меня из полиции выпускали. «Как это, говорит, тебе не стыдно бездельничать и буйнить? Надо, говорит, работать и жить смирно!» – «Ваше, мол, благородие! Дед мой, бурмистр зареченский, работал, и отец работал, а мне уж надобно за них отдыхать!» – «Пропадешь ты», – говорит...

– И по-моему, – говорит Ключников, зевнув, – должен ты пропасть из-за баб, как брат твой Андрей пропал...

– Андрей – от побоев! – говорит Зосима. – И вину сильно прилежал...

Бурмистров осматривает всех гордым взглядом и веско замечает:

– Не от вина и не от побоев, а – любил он Фелицату! Кабы не любил он ее – на что бы ему против всех в бой ходить?

Берегом, покачиваясь на длинных ногах, шагает высокий большеголовый парень, без шапки, босой, с удилищами на

плече и корзиною из бересты в руках. На его тонком сутулом теле тяжело висит рваное ватное пальто, шея у него длинная, и он странно кивает большой головой, точно кланяясь всему, что видит под ногами у себя.

Павел Стрельцов, суетясь и волнуясь, кричит встрече ему:

– Сим! Иди скорей!

И, стоя на коленях, ждет приближения Симы, глядя на его ноги и словно считая медленные, неверные шаги.

Лицо Симы Девушкина круглое, туповатое, робкие глаза бесцветны и выпучены, как у овцы.

– Ну, чего сочинил? Сказывай! – предлагает Стрельцов.

И Ключников, ласково улыбаясь, тоже говорит:

– Барабань, ну!

Шаркая ногой по песку и не глядя на людей, Сима скороговоркой, срывающимся голосом читает:

Боже – мы твои люди.

А в сердцах у нас – злоба!

От рожденья до гроба

Мы друг другу – как звери!

С нами, господи, буди!

Не твои ли мы дети?

Мы тоскуем о вере,

О тебе, нашем свете...

– Ну, брось, плохо вышло! – прерывает его Бурмистров.

А Тиунов, испытующе осматривая поэта темным оком, мягко и негромко подтверждает:

– Священные стихи не вполне выходят у тебя, Девкин! Священный стих, главное, певучий:

Боже, – милостив буди ми грешному.

Подай, господи, милости божией...

Вот как священный стих текет! У тебя же выходит трень-брень, как на балалайке!

Стрельцов, отрицательно мотая головой, тоже говорит:

– Не годится...

Сима стоит над ними, опустя тяжелую голову, молча шевелит губами и всё роет песок пальцами ноги. Потом он покачивается, точно готовясь упасть, и идет прочь, загребая ногами.

Глядя вслед ему, Тиунов негромко говорит:

– А все-таки – складно! Такой с виду – блаженный как бы... Вот – узнай, что скрыто в корне человека!

– Говорят – будто бы на этом можно деньги зашибить? – мечтательно спрашивает Стрельцов.

– А почему нельзя? Памятники даже ставят некоторым сочинителям: Пушкину в Москве поставили... хотя он при дворе служил, Пушкин! Державину в Казани – тоже придворный, положим!

Кривой говорит задумчиво, но всё более оживляется и



быстрее вертит шейей.

– Особенно в этом деле почитаются вот такие, как Девушкин этот, – низкого происхождения люди. Был при Александре Благословенном грушник Слепушкин, сочинитель стихов, так ему государь золотой кафтан подарил да часы, а потом Бонапарту хвастался: «Вот, говорит, господин Бонапарт, у вас – беспорядок и кровопролитное междоусобие, а мои мужички – стишки сочиняют, даром что крепостные!»

– Это он ловко срезал! – восхищается Ключников.

Бурмистров сидит, обняв колена руками, и, закрыв глаза, слушает шум города. Его писаное лицо хмуро, брови сдвинуты, и крылья прямого крупного носа тихонько вздрагивают. Волосы на голове у него рыжеватые, кудрявые, а брови – темные; из-под рыжих душистых усов красиво смотрят полные малиновые губы. Рубаха на груди расстегнута, видна белая кожа, поросшая золотистой шерстью; крепкое, стройное и гибкое тело его напоминает какого-то мягкого, ленивого зверя.

– Ерунда всё это! – не открывая глаз, ворчит он. – Стихи, памятники – на что они мне?

– Тебе бы только Лодку! – говорит Ключников, широко улыбаясь.

Зосима Пушкарев оживленно восклицает:

– Ну ж, – она ему и пара! И красива – ух! Не хуже его, Вавилы-то, ей-богу...

– Почему – ерунда? – тихо спрашивает кривой, действуя

глазом, точно буравом. – Если стих соответствует своему предмету – он очень сильно может за сердце взять! Например – Волга, как о ней скажешь?

Протянув руку вперед и странно разрубая слога, он тихо говорит своим глухим голосом:

Во-лга, Во-лга, вес-ной много-водною  
Ты не так за-ливаешь поля,  
Как великою скорбью народною...

Понимаете?

Как великою скорбью народною  
Переполнилась наша земля!

Русская земля! Вот – правильные стихи! Широкие!

– Это ты откуда взял? – спрашивает печник, подвигаясь к нему.

– В Москве, в тюремном замке, студенты пели...

– Ты там сидел?

– А как же!

– За фальшивки?

– Нет! Ведь это так, шутка, что я фальшивками занимался, меня за бродяжничество сажали и по этапам гоняли. А раз я попал по знакомству: познакомился в трактире с господином одним и пошел ночевать к нему. Господин хороший. Ночевал я у него ночь, а на другую – пришли жандармы и

взяли нас обоих! Он, оказалось, к политике был причастен.

– Что такое политика эта? – удивленно спрашивает Стрельцов. – Вон, сказывают, у одной мещанки в городе сына, солдата, посадили...

– У Маврухиной это!

– Помешалась она, говорили бабы...

– Политика – разное понимается, – спокойненько объясняет Тиунов. – Одни говорят: надобно всю землю крестьянам отдать; другие – нет, лучше все заводы рабочим; а третьи – отдайте, дескать, всё нам, а мы уж разделим правильно! Все, однако, заботятся о благополучии людей...

– Ну, а насчет мещан как?

Бурмистров, обернувшись к Стрельцову, строго заметил:

– Мещан политика не касается!

Кривой, поджав губы, промолчал.

С реки поднимается сырость, сильнее слышен запах гниющих трав. Небо потемнело, над городом, провожая солнце, вспыхнула Венера. Свинцовая каланча окрасилась в мутно-багровый цвет, горожане на бульваре шумят, смеются, ясно слышен хриплый голос Мазепы:

– Да – пэрэстаньте!

Вдруг раздается хоровое пение марша:

Как-то раз, перед толпою  
Соплеменных гор...

– Погодите! – грозя кулаком, говорит Бурмистров. – Придет Артюшка – мы вам покажем соплеменных!

И орет:

– Артюшка-а!

Павел Стрельцов неожиданно и с обидою в голосе бормочет:

– Вот тоже сахар возьмем – отчего из березового сока сахар не делать? Сок – сладкий, березы – много!

Ему никто не отвечает.

– Также и лен, – почему только лен? А может, и осот и всякая другая трава годится в дело? Надо ее испробовать!

Заложив руки за спину, посвистывая, идет Артюшка Пистолет, рыболов, птичник, охотник по перу и пушнине. Лицо у него скуластое, монгольское, глаза узкие, косые, во всю левую щеку – глубокий шрам: он приподнял угол губ и положил на лицо Артюшки бессменную кривую улыбку пренебрежения.

– Зачастили? – говорит он, кивая головой на город. – Ну, перебьем?

Бурмистров встает, потягивается, выправляя грудь, оскаливает зубы и командует:

– Начинай! Эх, соплеменные, – держись! В сырой и душный воздух вечера врываются заунывные ноты высокого светлого голоса:

Ой, да ты, кукушка-а...

Артем стоит, прислонясь к дереву, закинув руки назад, голову вверх и закрыв глаза. Он ухватился руками за ствол дерева, грудь его выгнулась, видно, как играет кадык и дрожат губы кривого рта.

Вавило становится спиной к городу, лицом – к товарищу и густо вторит хорошим, мягким баритоном:

Ой ли, птица бесприютная-а,  
Про-окукуй мне лето красное!

Вавило играет песню: отчаянно взмахивает головой, на высоких, скорбных нотах – прижимает руки к сердцу, тоскливо смотрит в небо и безнадежно разводит руками, все его движения ладно сливаются со словами песни. Лицо у него ежеминутно меняется: оно и грустно и нахмурено, то сурово, то мягко, и бледнеет и загорается румянцем. Он поет всем телом и, точно пьянея от песни, качается на ногах.

Все, не отрываясь, следят за его игрою, только Тиунов неподвижно смотрит на реку – губы его шевелятся и борода дрожит, да Стрельцов, пересыпая песок с руки на руку, тихонько шепчет:

– Вот, тоже, песок... Что такое – песок, однако? Из сумрака появляется сутулая фигура Симы, на плечах у него удилица, и он похож на какое-то большое насекомое с длинными усами. Он подходит бесшумно и, встав на колени, смотрит в лицо Бурмистрова, открыв немного большой рот и выкаты-

вая бездонные глаза. Сочный голос Вавилы тяжело вздыхает:

Эх, да вы ль, пути-дороги темные...

Когда разразилась эта горестная японская война – на первых порах она почти не задела внимания окуривцев. Горожане уверенно говорили:

– Вздует!

Покивайко, желая молодецки выправить грудь, надувал живот, прятал голову в плечи и фыркал:

– Японсы? Розумному человеку даже смешно самое это слово!

Фогель лениво возражал:

– Ну, не скажите! Они все-таки...

Но Покивайко сердился:

– А що воно таке – высетаке?

И с ехидной гримасой на толстом лице завершал спор всегда одной и той же фразой:

– Скэптицизм? Я вам кажу – лучше человеку без штанов жить, чем со скэптицизмом...

Долетая до Заречья, эти разговоры вызывали там равнодушное эхо:

– Накладем!

И долго несчастья войны не могли поколебать эту мертвую уверенность.

Только один Тиунов вдруг весь подобрался, вытянулся, и

даже походка у него стала как будто стремительнее. Он возвращался из города поздно, приносил с собою газеты, и почти каждый вечер в трактире Синемухи раздавался негромкий, убеждающий голос кривого:

– Кто воюет? Россия, Русь! А воеводы кто? Немцы!

Озирая слушателей темным взглядом, он перечислял имена полководцев и поджимал губы, словно обиженный чем-то.

– Какие они немцы? – неохотно возражали слушатели. – Чай, лет сто русский хлеб ели!

– Репой волка накормишь? Можешь? – серьезно спрашивает Тиунов. – Вы бы послушали, что в городе канатчик Кожемякин говорит про них! Да я и сам знаю!

– Ущемил, видно, тебя однажды немец, вот ты его и не любишь!

Развивались события, нарастало количество бед, горожане всё чаще собирались в «Лиссабон», стали говорить друг другу сердитые дерзости и тоже начали хмуро поругивать немцев; однажды дошло до того, что земский начальник Штрехель, пожелтев от гнева, крикнул голове и Кожемякину:

– А я вам скажу, что без немцев вы были бы грязными татарами! И впредь прошу покорно при мне...

Дергая круглыми плечами, Покивайко встал перед ним и сладостно возопил:

– Да сердце ж вы мое! Боже мой милый! Немцы, татары, або мордвины – да не всё ли ж равно нам, окуровцам? Разве

ж мы так-таки уж и не имеем своего поля? А нуте, пожалуйста, прошу...

И осторожно отвел желчного Штрехеля за карточный стол.

В Заречье несчастья войны постепенно вызвали спутанное настроение тупого злорадства и смутной надежды на что-то.

– Посмотреть бы по карте, как там всё расположено... – предлагал озабоченно Павел Стрельцов. – Море там, вот его бы пустить в действие...

– Шабаш! – осторожно загудел Тиунов, когда узнали о печальном конце войны. – Ну, теперь те будут Сибирь заглатывать, а эти – отсюда навалятся!

Он тыкал пальцем на запад и, прищуривая глаз, словно нацеливался во что-то, видимое ему одному.

Вавило Бурмистров стал задумываться: он долго исподволь прислушивался к речам кривого и однажды, положив на плечо ему ладонь, в упор сказал:

– Ну, Яков, не раздражай души моей зря – говори прямо: какие твои мысли?

Тиунову, видимо, не хотелось отвечать, движением плеча он попробовал сбросить руку Вавилы, но рука лежала тяжело и крепко.

– Отступись! – с трудом вывертываясь, сказал он тихонько.

Бурмистров привык, чтобы его желания исполнялись сра-



зу, он нахмурил темные брови, глубоко вздохнул и тот час выпустил воздух через ноздри – звук был такой, как будто зашипела вода, выплеснутая на горячие уголья. Потом молча, движениями рук и колена, посадил кривого в угол, на стул, сел рядом с ним, а на стол положил свою большую жилистую руку в золотой шерсти. И молча же уставил в лицо Тиунова ожидающий, строгий взгляд.

Завсегдатаи трактира тесно окружили их и тоже издали.

– Ну, – сказал Тиунов, оглядываясь и сухо покашливая, – о чем же станем беседовать мы?

– Говори, что знаешь! – определил Бурмистров.

– Я на всю твою жизнь знаю, тебе меня до гроба не переслушать!

– Ничего, авось ты скорей меня подохнешь! – ответил Вавило, и всем стало понятно, что если кривой не послушается – красавец изобьет его.

Но Тиунов сам понял опасность; решительно дернув головой кверху, он спокойно начал:

– Ладно, скажу я вам некоторые краткие мысли и как они дошли до моего разума. Будучи в Москве, был я, промежду прочим, торговцем – продавал подовые пироги...

И начал подробно рассказывать о каком-то иконописце, вдовом человеке, который весь свой заработок тратил на подаяние арестантам. Говорил гладко, но вяло и неинтересно, осторожно выбирал слова и словно боялся сказать нечто важное, что люди еще не могут оценить и недостойны знать.

Посматривал на всех скучно, и глуховатый голос его звучал подзадоривающе лениво.

– Ты, однако, меня не дразни! – сказал Вавило сквозь зубы. – Я – кроткий, но коли что-нибудь против меня – сержусь я тогда!

Кривой помолчал, потом строго воззрился на него и вдруг спросил:

– Ты – кто?

– Я?

– Да, ты.

Озадаченный вопросом, Бурмистров улыбнулся, оглядел всех и натянуто захохотал.

– Ты – мещанин? – спокойно и с угрозой вновь спросил кривой.

– Я? Мещанин! – Вавило ударил себя в грудь кулаком. – Ну?

– А знаешь ты, что такое соответствующий человек? – спрашивал Тиунов, понижая голос.

– Какой?

Кривой тихо и отдельно повторил:

– Со-ответствующий!

Бурмистров не мог более чувствовать себя в затруднительном положении: он вскочил, опрокинул стол, скрипнув зубами, разорвал на себе рубаху, затопал, затрясся, схватил Тиунова за ворот и, встряхивая его, орал:

– Яков! Не бунтуй меня!

Эти выходки были всем знакомы: к ним Вавило прибегал, когда чувствовал себя опрокинутым, и они не возбуждали сочувствия публики.

– Брось дурить, кликуша! – сказал Зосима Пушкарев, охватывая его сзади под мышки толстыми ручищами.

– Словно беременная баба, в самом деле! – презрительно и строго говорит Пистолет, и лицо у него становится еще более кривым. – Только тебе и дела – зверем выть! Дай послушать серьезный человеческий голос!

Бурмистров почувствовал себя проигравшим игру, сокрушенно мотнул головой и, как бы сильно уставший, навалился на стол.

А Тиунов, оправляя чуйку, осторожно выговаривал, слово за словом:

– Мы все – мещане. Будем, для понятности, говорить по-азбучному, просто. Чему мы, примерно, соответствуем? По-азбучному сказать: какое нам место и дело отведено на земле государевой? Вопрос!

Никто не ответил на этот вопрос.

– Купец ли, дворянин ли и даже мужик – самый низкий слой земного жителя – все имеют ответственность тому-другому делу. А наше дело – какое?

Оратор вздохнул и, посмотрев на слушателей, победно усмехнулся.

– Ученых людей, студентов, которые занимаются политикой, спрашивал, двух священников, офицера – тоже полити-

ческий, – никто не может объяснить – кто есть в России мещанин и какому делу-месту соответствует!

Ключников толкнул Вавилу в бок.

– Слышишь?

– Пошел к черту! – пробормотал Вавило.

– Но вот, – продолжал Тиунов, – встретил я старичка, пишет он историю для нас и пишет ее тринадцать лет: бумаги исписано им с полпуда, ежели на глаз судить.

– Кожемякин? – угрюмо спросил Вавило.

– Вот, говорит, тружусь, главнейше – для мещанства, – не ответив, продолжал кривой, – для него, говорит, так как неописуемо обидели его и обошли всеми дарами природы. Будет, говорит, показано мною, сколь русский народ, мещане, злоплененное сословие, и вся судьба мещанской жизни.

Бурмистров снова спросил:

– Ты читал?

– Нет, не читал. Но – я знаю некоторые краткие мысли оттуда. Вот, например, мы: какие наши фамилии? По фамилиям – мы выходим от стрельцов, пушкарей, тиунов – от людей нужных, и все мы тут – люди кровного русского ряда, хотя бы и черных сотен!

– Чего ты хочешь? – сурово спросил Вавило в третий раз.

Потирая руки, Тиунов объявил:

– Как чего? Соответственного званию места – больше ничего!

Он окинул всех просиявшим оком и, заметив, что уже на

многих лицах явилась скука, продолжал живее и громче:

– Не желательно разве мне знать, почему православное коренное мещанство – позади поставлено, а в первом ряду – Фогеля, да Штрехеля, да разные бароны?

Павел Стрельцов охнул и вдруг взвился, закричал и захлебнулся.

– Верно-о! Да... дай мне ходу, да я – господи! – всякого барона в деле обгоню!..

Его крик подчеркнул слова Тиунова, и все недоверчиво, с усмешками на удивленных лицах, посмотрели друг на друга как бы несколько обновленными глазами. Стали вспоминать о своих столкновениях с полицией и земской управой, заговорили громко и отрывисто, подшучивая друг над другом, и, ласково играючи, толкались.

Были рады, что кривой кончил говорить и что он дал столь интересную тему для дружеской беседы.

А Вавило Бурмистров, не поддаваясь общему оживлению, отошел к стене, закинул руки за шею и, наклоня голову, следил за всеми исподлобья. Он чувствовал, что первым человеком в слободе отныне станет кривой. Вспоминал свои озорные выходки против полиции, бесчисленные дерзости, сказанные начальству, побои, принятые от городских и пожарной команды, – всё это делалось ради укрепления за собою славы героя и было дорого оплачено боками, кровью.

Но вот явился этот пройдоха, застучал языком по своим черным зубам и отодвигает героя с первого места куда-то в

сторону. Даже Артюшка – лучший друг – и тот, отойдя в угол, стоит один, угрюмый, и не хочет подойти, перекинуться парой слов. Бурмистров был сильно избалован вниманием слобожан, но требовал всё большего и, неудовлетворенный, странно и дико капризничал: разрывал на себе одежду, ходил по слободе полуголый, валялся в пыли и грязи, бросал в колодцы живых кошек и собак, бил мужчин, обижал баб, орал похабные песни, зловеще свистел, и его стройное тело сгибалось под невидимую людям тяжестью. Во дни таких подвигов его красивое законченное лицо становилось плоским, некоторые черты как бы исчезали с него, на губах являлась растерянная, глуповатая улыбка, а глаза, воспаленные бессонницей, наливались мутной влагой и смотрели на всё злобно, с тупой животной тоской. Но – стоило слобожанам подойти к нему, сказать несколько ласковых похвал его удали, – он вдруг весь обновлялся, точно придорожная пыльная береза, омытая дождем после долгой засухи, снова красивые глаза вспыхивали ласковым огнем, выпрямлялась согнутая спина, сильные руки любовно обнимали знакомых; Вавило, не умолкая, пел хорошие песни, готов был в эти дни принять бой со всеми за каждого и даже был способен помочь людям в той или другой работе.

Сейчас он видел, что все друзья, увлеченные беседою с кривым, забыли о нем, – никто не замечает его, не заговаривает с ним. Не однажды он хотел пустить в кучу людей стулом, но обида, становясь всё тяжелее, давила сердце, обес-

силивала руки, и, постояв несколько минут, – они шли медленно, – Бурмистров, не поднимая головы, тихонько ушел из трактира.

На другой день утром он стоял в кабинете исправника, смотрел круглыми глазами на красное, в седых баках, сердитое лицо Вормса, бил себя кулаком в грудь против сердца и, захлебываясь новым для него чувством горечи и падения куда-то, рассказывал:

– Мы, говорит, мещане – русские, а дворяне – немцы, и это, говорит, надо переменить...

Вормс, пошевелив серыми бровями, спросил:

– Как?

– Что?

– Переменить – как?

– До этого он не дошел!

Исправник поднял к носу указательный палец, посмотрел на него, понюхал зачем-то и недовольно наморщил лоб.

– А другие? – спросил он.

– Другие? – повторил Бурмистров, понижая голос и оглядываясь. – Другие – ничего! Кто же другие? Только он один рассуждает...

– А печник? Там есть печник! Есть?

– Он – ничего! – хмуро сказал Вавило.

– Все?

– Всё.

Исправник отклонил свое сухое тело на спинку кресла и, размеренно стучая пальцем по столу, сказал:

– Все вы там – пьяницы, воры, и всех вас, как паршивое стадо, следует согнать в Сибирь! Ты – тоже разбойник и скот!..

Говорил он долго и сухо, точно в барабан бил языком. Бурмистров, заложив руки за спину, не мигая, смотрел на стол, где аккуратно стояли и лежали странные вещи: борзая собака желтой меди, стальной кубик, черный, с коротким дулом, револьвер, голая фарфоровая женщина, костяная чаша, подобная человеческому черепу, а в ней – сигары, масса цапок с бумагами, и надо всем возвышалась высокая, на мраморной колонне, лампа с квадратным абажуром.

Исправник, грозя пальцем, говорил:

– Ты у меня смотри!

Потом, сунув руку в карман, деловито продолжал:

– Ты теперь должен там слушать и доносить мне обо всем, что они говорят. Вот – на, возьми себе целковый, потом еще получишь, – бери!

Протянув открытую ладонь, Вавило угрюмо сказал:

– Я ведь не из-за денег...

– Это всё равно!

Опираясь на ручки кресла, исправник приподнял свое тело и наклонил его вперед, точно собираясь перепрыгнуть через стол.

Бурмистров уныло опустил голову, спросив:



– Идти мне?

– Ступай!

Был конец августа, небо сеяло мелкий дождь, на улицах шептались ручьи, дул порывами холодный ветер, тихо шелестели деревья, падал на землю желтый лист. Где-то каркали вороны отсыревшими голосами, колокольчик звенел, бухали бондари по кадкам и бочкам. Бурмистров, смешно надув губы, шлепал ногами по жидкой грязи, как бы нарочно выбирая места, где се больше, где она глубже. В левой руке он крепко сжимал серебряную монету – она казалась ему неудобной, и он ее нес, как женщина ведро воды, – отведя руку от туловища и немного изогнувшись на правую сторону.

На месте вчерашней злобы против кривого в груди Вавилы образовалась какая-то холодная пустота, память его назойливо щекотали обидные воспоминания:

В городе престольный праздник Петра и Павла, по бульвару красивыми стаями ходит нарядное мещанство, и там, посреди него, возвышаются фигуры начальствующих лиц. Громко играют медные трубы пожарных и любителей.

А посередине улицы, мимо бульвара, шагает он, Вавило Бурмистров, руки у него связаны за спиною тонким ремнем и болят, во рту – соленый вкус крови, один глаз заплыл и ничего не видит. Он спотыкается, задевая ушибленную ногою за камни, – тогда городской Капендюхин дергает ремень и режет ему туго связанные кисти рук. Где-то за спиной раз-

дается вопрос исправника:

– Кто?

– Зо слободы, ваше благородью, Бурмистрову!

– За что?

– Та буйство учиныв на базари!

И голос исправника горячо шипит:

– Дать ему там, сукиному сыну!

– Злушаю, ваше благородые!

Дали. Двое стражников уселись на голову и на ноги, а третий отхлестал нагайкой.

– Ты мне за это целковый платишь? – остановясь под дождем, пробормотал Вавило.

Одна за другой вспоминались обиды, уводя человека куда-то мимо трактиров и винных лавок. Оклеивая всю жизнь темными пятнами, они вызывали подавляющее чувство физической тошноты, которое мешало думать и, незаметно для Вавилы, привело его к дому Волынки. Он даже испугался, когда увидел себя под окном комнаты Тиунова, разинул рот, точно собираясь крикнуть, но вдруг решительно отворил калитку, шагнул и, увидев на дворе старуху-знахарку, сунул ей в руку целковый, приказав:

– Тащи две, живо! Хлеба, огурцов, рубца – слышишь?

А войдя в комнату Тиунова, сбросил на пол мокрый пиджак и заметался, замахал руками, застонал, колотя себя в грудь и голову крепко сжатыми кулаками.

– Яков – на! Возьми, – вот он я! Действительно – верно!

Эх – человек! Кто я? Пылинка! Лист осенний! Где мне – дорога, где мне жизнь?

Он – играл, но играл искренно, во всю силу души: лицо его побледнело, глаза налились слезами, сердце горело острой тоской.

Он долго выкрикивал свое покаяние и жалобы свои, не слушая, – не желая слышать, – что говорил Тиунов; увлеченный игрою, он сам любовался ею откуда-то из светлого уголка своего сердца.

Но наконец утомился, и тогда пред ним отчетливо встало лицо кривого: Яков Тиунов, сидя за столом, положил свои острые скулы на маленькие, всегда сухие ладони и, обнажив черные верхние зубы, смотрел в глаза ему с улыбкой, охлаждавшей возбуждение Вавилы.

– Ты – что? – спросил он, отодвигаясь от кривого. – Сердишься, а?

Тиунов длительно вздохнул.

– Эх, Вавило, хорошая у тебя душа все-таки!

– Душа у меня – для всего свободна! – воскликнул обрадованный Бурмистров.

– Зря ты тут погибаешь! Шел бы куда-нибудь судьбы искать. В Москву бы шел, в губернию, что ли!

– Уйти? – воскликнул Вавило, подозрительно взглянув на темное задумчивое лицо. «Ишь ты, ловок!» – мельком подумал он и снова стал поджигать себя: – Не могу я уйти, нет! Ты знаешь, любовь – цепь! Уйду я, а – Лодка? Разве еще где

есть такой зверь, а?

– Возьми с собой.

– Не пойдет!

Бурмистров горестно ударил кулаком по столу так, что зашатались бутылки.

– Я уговаривал ее: «Глафира, идем в губернию! Поступишь в хорошее заведение, а я туда – котом пристроюсь». – «Нет, говорит, милый! Там я буду, может, десятая, а здесь я – первая!» Верно – она первая!

– Пустяки всё это! – тихо и серьезно сказал Тиунов. Вавило посмотрел на него и качнул головой, недоумевая.

– Ты меня успокой все-таки! – снова заговорил он. – Что я сделал, а?

– Это насчет доноса? – спросил кривой. – Ничего! Привязаться ко мне трудно: против государь-императора ничего мною не говорено. Брось это!

– Вот – душа! – кричал Бурмистров, наливая водку. – Выпьем за дружбу! Эх, не волен я в чувствах сердца!

Выпили, поцеловались. Тиунов крепко вытер губы, и беседа приняла спокойный, дружеский характер.

– Ты сообрази, – не торопясь, внушал кривой, – отчего твое сердце, подобно маятнику, качается туда-сюда, обманывая всех, да и тебя самого? От нетвердой земли под тобою, браток, оттого, что ты человек ни к чему не прилепленный, сиречь – мещанин! Надо бы говорить – мешанин, потому – все в человеке есть, а все – смешано, переболтано...

– Верно! – мотая головой, восклицал Вавило. – Ах, ну и верно же, ей-богу! Всё во мне есть!

– А стержня – нету! И все мы такие, смешанные изнутри. Кто нас ни гни – кланяемся и больше ничего! Нет никаких природных прав, и потому – христопродавцы! Торговать, кроме души, – нечем. Живем – пакостно: в молодости землю обесчестив, под старость на небо лезем, по монастырям, по богомольям шатаюсь...

– Верно! Жизнь беззаконная!

– Закон, говорится, что копь: куда захочешь, туда и поворачиваешь, а руку протянуть – нельзя нам к этому закону! Вот что, браток!

Гладкая речь Тиунова лентой вилась вокруг головы слободского озорника и, возбуждая его внимание, успокаивала сердце. Ему даже подумалось, что спорить не о чем: этот кривой, чернозубый человек славе его не помеха. Глядя, как вздрагивает раздвоенная борода Якова Захарова, а по черепу, от глаз к вискам, змейками бегают тонкие морщины, Бурмистров чувствовал в нем что-то, интересно и жутко задевающее ум.

– Гляди вот, – говорил Тиунов, направляя глаз в лицо Вавилы, – ты на меня донес...

Вавило передернул плечами, точно от холода.

– А я тебе скажу открыто: возникает Россия! Появился народ всех сословий, и все размышляют: почему инородные получили над нами столь сильную власть? Это значит – про-

сыпается в народе любовь к своей стране, к русской милой земле его!

Прищурив глаз, кривой налил водки, выпил и налил еще.

– А долго ты пить можешь? – с живым любопытством спросил Бурмистров.

Бывалый человек спокойно ответил:

– Пока водка есть – пью, а как всю выпью, то – перестаю...

Этот ответ вызвал у Вавилы взрыв резвого веселья: он хохотал, стучал ногами и кричал:

– Эт-то ловко!

Просидели до позднего вечера, и с той поры Бурмистров стал всем говорить, что Яков Захаров – умнейший человек на земле. Но, относясь к Тиуну с подчеркнутым уважением, он чувствовал себя неловко перед ним и, вспоминая о доносе, размышлял:

«Молчит, кривой дьявол! Видно, ищет своей минуты, когда бы ловчее осрамить меня...»

При этой мысли кровь в груди у него горячо вскипала, он шумно отдувался, расширяя ноздри, как породистый конь, и, охваченный тревожным темным предчувствием неведомой беды, – шел в «раишко», к Лодке, другу своего сердца и складочному месту огорчений своих.

Лодка – женщина лет двадцати трех, высокая, дородная, с пышной грудью, круглым лицом и большими серо-синего цвета наивно-наглыми глазами. Ее густые каштановые воло-

сы гладко причесаны, тщательно разделены прямым пробором и спускаются на спину толстой, туго заплетенной косой. Тяжесть волос понуждает Лодку держать голову прямо, – это дает ей вид надменный. Нос у нее не по лицу мал, остр и хрящеват, темно-красные губы небольшого рта очерчены строго, она часто облизывает их кончиком языка, и они всегда блестят, точно смазанные маслом. И глаза ее тоже блестят приятною улыбкою человека, довольного своею жизнью и знающего себе цену.

Ходит она уточкою, вперевалку, и даже когда сидит, то ее пышный бюст покачивается из стороны в сторону; в этом движении есть нечто, раздражающее угрюмого пьяницу Жукова; часто бывает, что он, присмотревшись налитыми кровью глазами к неустанным колебаниям тела Лодки, свирепо кричит:

– Перестань, дьявол! Сиди смирно!

Рыжая щетина на его круглой голове и багровых щеках встает дыбом, и глаза мигают, словно от испуга.

– Малина с молоком! – называет, восхищаясь, Лодку веселый доктор Ряхин и осторожно, со смущенной улыбкой на костлявом лице, отдаляется от нее. Он тяготеет к неугомонной певунье, гибкой и сухонькой Розке, похожей на бойкую черную собачку: кудрявая, капризная, с маленькими усиками на вздернутой губе и мелкими зубами, она обращается с Ряхиным дерзко, называя его в глаза «зелененьким шкелетиком». Она всем дает прозвища: Жуков для нее – «Ушат По-

моевич», уныло-злой помощник исправника Немцев – «Укус Умирайлыч».

Третья девица – рыжая коротенькая Паша – молчалива и любит спать. Позевывая, она тягуче воет. У нее большой рот, неровные крупные зубы. Косо поставленные, мутно-зеленые глазки смотрят на всех обиженно и брезгливо, а на Четыхера – со страхом и любопытством.

Сорокалетняя рослая и стройная Фелината Назаровна Воеводина относится к девицам хорошо, покровительствует их сердечным делам, вмешивается в ссоры и умеет безобидно примирить. Лицо у нее хорошее, доброе, в глазах, всегда как бы полупьяных, светится странная, полувеселая улыбка. Она и сама еще не прочь угодить гостям: чудесно пляшет русскую, ловко играет на гитаре, умеет петь романсы о любви. Голос у нее небольшой, но очень гибкий и слащавый, он точно патока обливает людей, усыпляя в них все чувства, кроме одного. Причесывается Фелицата, спуская волосы на уши, любит хорошо одеваться, выписывает модный журнал, а когда пьяна – обязательно читает девицам и гостям стихи: «По небу полуночи ангел летел». При всем этом дела ее идут хорошо: известно, что за три года она положила в сберегательную кассу при казначействе тысячу семьсот рублей.

Когда Бурмистров подходит к воротам «Фелицатина раишка» – обезьяноподобный Четыхер ударом толстой и кривой ноги отворяет перед ним калитку.

– Здравствуй, черт! – говорит Вавило, косясь на длинные



ручищи привратника, сунутые в карманы короткого полушубка.

– Здорово, дурак! – равнодушно и густо отвечает Четыхер.

Бурмистров дважды пробовал драться с этим человеком, оба раза был жестоко и обидно побит и с той поры, видя своего победителя, наливался тоскливою злобою.

С нею он и шел к Лодке. Женщина встречала его покачиваясь, облизывая губы, ее серовато-синие глаза темнели; улыбаясь пьяной и опьяняющей улыбкой, томным голосом, произнося слова в нос, она говорила ему:

– Уж я ждала, ждала...

– Ждала! – сурово и не глядя ей в лицо, отзывался Бурмистров. – Я третьего дня был!

Она молча прижималась к нему, дыша прерывисто и жарко.

– Али смешала с кем?

– Тебя-то? – тихо спрашивала она. Наигравшись с ним, она угощала красавца пивом, а он, отдыхая, жаловался:

– Вот – тридцать годов мне, сила есть у меня, а места я себе не нахожу такого, где бы душа не ныла!

– А ты ходи ко мне почаще! – предлагала Лодка, сидя на постели и всё время упорно глядя в глаза ему.

Он хмурился, мотал головой и скучно говорил:

– Велика радость – ты! Для меня все бабы – пяточок пучок. Тобой сыт не будешь!

– Али я тебя не кормлю, не даю тебе сколько могу?

– Я не про то, дура! Я про душу говорю! Что мне твои полтинники?

Беседовали лениво, оба давно привыкли не понимать один другого, не делали никаких усилий, чтобы объяснить друг другу свои желания и мысли.

– Чего тебе надо?! – равнодушно покачиваясь, спрашивала Лодка.

Бурмистров закрывал глаза, не желая видеть, как вызывающе играет ненасытное тело женщины, качаются спущенные с кровати голые ноги ее, желтые и крепкие, как репа.

– Чего надо? – бормотал он. – Ходу, дороги надо!

– Иди! – двусмысленно улыбаясь, отвечала она. – Кто мешает?

– Все! И ты тоже!

В комнате пахнет гниющим пером постели, помадой, пивом и женщиной. Ставни окна закрыты, в жарком сумраке бестолково маются, гудят большие черные мухи. В углу, перед образом Казанской божьей матери, потрескивая, теплится лампада синего стекла, точно мигает глаз, искаженный тихим ужасом. В духоте томятся два тела, потные, горячие. И медленно, тихо звучат пустые слова – последние искры догоревшего костра.

Но чаще Бурмистров является красиво растрепанный, в изорванной рубашке, с глазами, горящими удачью и тоской.

– Глафира! – орет он, бия себя в грудь. – Вот он я, – твой кусок! Зверь жадный, на, ешь меня!

Тогда глаза Лодки вспыхивают зеленым огнем, она изгибается, качаясь, и металлически, в нос, жадно и радостно поет, как нищий, уверенный в богатой милостыне:

– Миленький мой, заму-учился! Родненький мой братик, обиженный всеми людьми, иди-ка ты ко мне, приласкаю тебя, приголублю одинокого...

– Глафира! – впадая в восторг, кричал Вавило. – Возьми ты сердце мое – возьми его – невозможно ему дышать, – ну, нечем же, нечем!

В этот час он особенно красив и сам знает, что красив. Его сильное тело хвастается своей гибкостью в крепких руках женщины и тоскливый огонь глаз зажигает в ней и страсть и сладкую бабью жалость.

– Нету воли мне, нет мне свободы! – причитает Вавило и верит себе, а она смотрит в глаза ему со слезами на ресницах, смотрит заглывающим взглядом, горячо дышит ему в лицо и обнимает, как влажная туча истощенную зноем землю.

Случалось, что после такой сцены Бурмистров, осторожно поднимая голову с подушки, долго и опасливо рассматривал утомленное и бледное лицо женщины. Глаза у нее закрыты, губы сладко вздрагивают, слышно частое биение сердца, и на белой шее, около уха, трепещет что-то живое. Он осторожно спускает ноги на пол – ему вдруг хочется уйти поскорее и тихо, чтобы не разбудить ее.

Иногда это удавалось, но чаще женщина, вздрогнув, вскакивала, спрашивая строго и пугливо:

– Ты что хочешь?

– Ухожу, – кратко говорил он, не глядя на нее.

Она следила серым взглядом полинявших глаз, как он одевается.

– Когда придешь?

– Приду – увидишь!

– Ну, прощай.

– Прощай!

И бывало так, что вдруг он чувствовал бешеную злобу к этой женщине, щипал ее и сквозь зубы говорил:

– Кабы не ты, дьявол мой, – эх! Был бы я свободен совсем...

Сначала она смеялась, вскрикивая:

– Щекотно, ой!

Но когда, раздражаемый ее криками, смехом и сопротивлением, он начинал бить ее – Лодка, ускользя из его рук, бежала к окну и звонко звала:

– Кузьма Петрович!

Являлся Четыхер. Но всегда заставлял мирную картину: Бурмистров с Лодкой стояли или сидели обнявшись, и женщина говорила, нагло и наивно улыбаясь:

– Ай, простите нас, Кузьма Петрович, дурю я всё, по глупости моей! Выпейте стаканчик, не угодно ли? Пожалуйста, вот и закусочка!

Четыхер молча выплескивал водку или пиво в свою пасть, осматривал Бурмистрова и, значительно крякнув, выдвигал-

ся за дверь, а Вавило, покрытый горячей испариной, чувствовал себя ослабевшим и ворчал:

– Дура... Шуток не понимаешь!

Она, смеясь, облизывала губы, вздыхала и, вновь обнимая его, заглядывала ему в глаза вызывающим взглядом.

Когда Вавило рассказал ей о Тиунове и его речах, Лодка, позевывая, заметила:

– Вот и Коля-телеграфист так же говорит: быть поскорости бунту! Немцев тоже боится, а доктор – не верит!

– Смутьяны! – заворчал Вавило. – Бунтов захотели с жиру да со скуки!

Лодка равнодушно предложила:

– Хочешь – я Немцову скажу про кривого?

– Что скажешь?

Заплетая косу и соблазнительно покачиваясь, Лодка ответила:

– Не знаю! Ты научи.

Подумав, Вавило скучным голосом молвил:

– Нет, не надо. Не касайся этого, – что тебе? Да и я ведь так только, с тобой говорю, а вообще – наплевать на всё!

Через минуту он, вздохнув, добавил:

– Может, кривой-то правду говорит насчет мещанов? И про бунт тоже. Конечно, глупость это – бунты... ну, а я бы все-таки побунтовался, – эх!

– Уж ты у меня! – запела Лодка, обнимая его.

– Н-да-а, я бы показал себя! – разгораясь, восклицал Бур-

мистров.

Однажды, под вечер, три подружки гуляли в саду: Лодка с Розкой ходили по дорожкам между кустов одичавшей малины, а Паша, забравшись в кусты и собирая уцелевшие ягоды, громко грызла огурец.

Розка с жаром читала на память неприличные стихи. Лодка качалась, приятно облизывая губы, порою торопливо спрашивала:

– Как? Как?

И удивлялась:

– Вот так память у тебя!

– Он меня, как скворца, учит! – объясняла Розка. – Посадит на коленки, возьмет за уши да прямо и в рот и в глаза и начитывает, и начитывает!

Вздыхнув, Лодка задумчиво молвила:

– Докторам все тайности известны! Ах, и смелый он у тебя, – ничего не боится!

– Ничего! А то вот какие стишки еще...

Снова раздался ее торопливый говорок. Когда они проходили мимо Паши, рыжая девушка, сонно взглянув на них, проворчала:

– Эки пакостницы!

– А ты жри, знай! – отозвалась Розка на ходу, точно камнем кинула.

– Да-а, – вздрогнув, задумчиво протянула Лодка. – Какой

смелый!

Над малинником гудели осы и пчелы. В зелени ветел суматошно прыгали молодые воронята, а на верхних ветвях солидно уместились старые вороны и строго каркали, наблюдая жизнь детей. Из города доплывал безнадежный зов колокола к вечерней службе, где-то озабоченно и мерно пыхтел пар, вырываясь из пароотводной трубки, на реке вальки шлепали, и плакал ребенок.

– Любишь, как укроп пахнет? – тихо спросила Лодка подругу, но та, не отвечая на вопрос, с гордостью рассказывала:

– Ему – все одинаково, ничего он не боится! Ты слушай...

Оглядываясь, она тихонько начала:

– «Однажды бог, восстав...» Смотри-ка, Симка за нами подглядывает!

Прищуриив глаза, Лодка посмотрела.

– И правда! Вот, – тоже стишки умеет сочинять.

– Ну уж! – пренебрежительно мотнув головой, воскликнула Розка. – Юродивый-то!

– Пойдем к нему?

– Пойдем, посмеемся! – согласилась Розка.

В проломе каменной стены сада стоял длинный Сима с удочками в руке и бездонным взглядом, упорно, прямо, не мигая, точно слепой на солнце, смотрел на девиц. Они шли к нему, слащаво улыбаясь, малина и бурьян цапали их платья, подруги, освобождаясь от цепких прикосновений, красиво покачивались то вправо, то влево, порою откидывали тело

назад и тихонько взвизгивали обе.

– За рыбой? – ласково спросила Лодка.

Не шевелясь, Сима ответил:

– Да.

– Рано сегодня!

– Скоро начнется самый клев, – объяснил юноша, не сводя пустых глаз с лица девушки.

Розка, ущипнув подругу, спросила:

– Слышал стишки?

Сима утвердительно кивнул головой.

– Получше твоих-то, – задорно сказала черненькая девушка.

– Нет, – негромко ответил Девушкин. Это рассердило Розку.

– Скажите! – с досадой воскликнула она. – Какой ферт! Да ты совсем и не умеешь сочинять-то! Мя-мямя – только и всего у тебя!

– Я хочу, чтобы как молитва было, – тихо сказал Сима, обращаясь к Лодке.

Каждый раз, когда эта женщина видела юношу, наглый блеск ее взгляда угасал, зрачки расширились, темнели, изменяя свой серо-синий цвет, и становились неподвижны. В груди ее разливался щекотный холодок, и она чаще облизывала губы, чувствуя во всем теле тревожную сухость. Сегодня она ощущала всё это с большей остротой, чем всегда.

«Некрасивый какой!» – заставила она себя подумать, при-



стально рассматривая желтоватое голодное лицо, измеряя сутулое тело с длинными, как плети, руками и неподвижными, точно из дерева, пальцами. Но взгляд ее утопал в глазах Симы, уходя куда-то всё дальше в их светлую глубину; беспокойное тяготение заставляло ее подвигаться вплоть к юноше, вызывая желание дотронуться до него.

Он не однажды говорил ей свои стихи, и, слушая его тихий и быстрый, размеренный говорок, она всегда чувствовала смущение, сходное с досадой, не знала, что сказать ему, и, вздыхая, молчала. Но каждый раз, помимо воли своей, спрашивала:

– Сочинил стихов?

– Да, – ответил Сима, наклоняя голову.

– Уйду я, ну вас к лешему! – воскликнула Розка, окидывая их насмешливым взглядом. – Ты, Глафира, поцеловала бы его разочек, да и пусть идет...

Засмеявшись, она отошла в кусты, звонко напевая:

И я ль страдала, страданула,  
С моста в речку сиганула...

– Ну, что же, скажи! – вздохнув, предложила Лодка.

Он поднял голову, благодарно улыбнулся ей, на щеках у него вспыхнули розовые пятна, пустые глаза налились какою-то влагою. Лодка отодвинулась от него.

Пресвятая богородица,

Мати господя всевышнего!  
Обрати же взор твой ласковый  
На несчастную судьбу детей!

Челюсть у него дрожала, говорил он тихо, невнятно. Стоял неподвижно и смотрел в лицо женщины исподлобья, взглядом робкого нищего. А она, сдвинув брови, отмечала меру стиха легкими кивками головы, ее правая рука лежала на камнях стены, левая теребила пуговицу кофты.

В темных избах дети малые  
Гибнут с холода и голода,  
Их грызут болезни лютые,  
Глазки деток гасит злая смерть!  
Редко ласка отца-матери  
Дитя малое порадует,  
Их ласкают – только мертвеньких,  
Любят – по пути на кладбище...

– Будет! – сказала Лодка, еще дальше отступая от него.

Сима взглянул в лицо ей и уныло замолчал, ему показалось, что она сердится: щеки у нее побелели, глаза стали темно-синими, а губы крепко сжались. Сима стал виновато объяснять:

– Это я потому, что у Стрельцовых Лиза померла. Долго очень хворала, а мать всё на поденщину ходит, – сердилась на нее, на Лизу: мешаешь, кричала. А умерла – так она тре-

ты сутки плачет теперь, Марья-то Назаровна!

– Знаю я это! – почти с досадой, но негромко сказала женщина. – Хоронила я детей... двое было...

Она оглянулась: розовый сумрак наполнял сад, между ветвями деревьев, бедно одетых осеннею листвою, сверкало багровое солнце.

– Идем со мной! – вдруг приказала она Симе; юноша положил удилица и покорно тронулся с места, неловко поднимая ноги. Она же шла быстро и, как бы прячась от кого-то, нагибалась к земле. Привела его в темный угол сада и там, указав на кучу мелко хвороста, шепнула ему:

– Сядь!

И, когда он сел, обняла его за шею, тихо и торопливо спрашивая:

– Ведь ты любишь меня, любишь?

– Да, – ответил Сима, вздрогнув.

– Ну, и я тебя люблю! – быстро сказала она.

Он, испуганно взглянув в лицо ей, отодвинулся.

– Это... это уж неправда... вы нарочно...

– Ах, господи! – тихонько воскликнула женщина. – Ей же богу! Вот – перекрестилась, видишь?

Тогда он взвыл, рванулся к ней и, сунув голову в колени ее, бормотал, радостно всхлипывая:

– Я ведь давно-о! Я вас – так люблю...

Отталкивая его, она шепотом говорила:

– Ну, скорее, – ах, да скорее же...

Сима не понимал ее слов, она грубо схватила его, поспешно отдалась и потом сразу спокойно сказала, вздыхая глубоко и ровно:

– Ну, вот! Теперь ты будешь ходить ко мне, – будешь? Я скажу дворнику, чтобы пускал тебя!

Движением локтя она отстранила его от себя и встала, высокая и красивая.

– Ты знаешь – у меня муж есть? – спросила она, испытующе глядя в его ошеломленное и пьяное лицо.

– Знаю! – прошептал Сима.

– И любовник тоже есть...

Он смотрел в лицо ей, растерянно улыбаясь, пошатывался и молчал.

– Ну? Как же ты теперь будешь? – любопытно спросила она.

– Я скажу ему...

Лодка вздрогнула, выпрямилась.

– Что скажешь? Кому?

– Вавиле. Ничего! – успокоительно и радостно проговорил юноша. – Я уж сам, вы не бойтесь...

Что-то ласковое, почти материнское мелькнуло в глазах Лодки.

– Не смей! – строго сказала она. – Дурачок, – разве это можно?!

И, положив тяжелые руки на плечи юноши, ласково продолжала:

– Он убьет тебя, дурашка ты! Ты – молчи!

Повернула его и, легонько подталкивая, шептала:

– Ну, уходи теперь! Иди, прощай! Смотри же, молчи!

Помни – убьет!

Он пытался обернуться к ней – ему хотелось обнять ее, но, когда он обернулся, она уже быстро и не оглядываясь шла прочь от него. Юноша неподвижно стоял над кучей полугнилого мусора, дремотно улыбался и смотрел влажным взглядом в кусты, где – точно облако – растаяли мягкие белые юбки.

Лодка шла так быстро, точно боялась, что кто-то неприятный остановит ее. Подпрыгивая по лестнице, вбежала в свою комнату, заперла дверь па ключ, схватилась за спинку кровати и глубоко вздохнула.

В полутьме комнаты скорбно мигал синий глаз лампы, вокруг образа богоматери молитвенно качались тени.

Женщина долго смотрела в угол, потом бесшумно опустилась на колени – точно прячась за высокой спинкой кровати, – и, сложив руки на груди, громко, льстиво зашептала:

– Пресвятая богородица, помилуй рабу твою, окаянную грешницу Глафиру!

Слава Симы Девушкина перекинулась через реку: земский начальник приказал привести к нему поэта, долго слушал его стихи, закрыв глаза и мотая головой, потом сказал:

– Надо учиться тебе, ты мало грамотен! Читать любишь?

Утомленный чтением и напуганный строгим лицом зем-

ского, Сима молчал.

Штрехель погладил бритые щеки ладонями, внимательно оглядел нескладное тело стоявшего у притолки и заговорил снова:

– Надо читать, братец мой! Пушкина надо читать! Знаешь Пушкина?

– Нет.

– Как? – удивился земский. – А помнишь в школе:

Встает заря, идет разносчик,  
На биржу тянется извозчик...

Это и есть – Пушкин! Ты где учился?

– В церковно-приходской.

– Ага, да! Но – Пушкина надо знать! Я тебе выпишу его книги, у меня нет сейчас, я выпишу из губернии. Что, у тебя здоровье слабое?

– Слабое, – эхом отозвался поэт.

– Надо лечиться! Ты ходи по праздникам гулять в Черемухинский бор, там – сосны, это очень полезно для тебя.

Дал Симе полтинник и ласково проводил его до прихожей.

Отец Исаия Кудрявский тоже одобрял стихи Симы.

– Похвально, Симеон, похвально! – говорил он, помахивая благообразной головой. – Очень одобряю. И направленные мысли и простота штиля – весьма трогает душу! Тру-

дись, юноша, не зарывай в землю богом данного таланта и с помощью Симеона-богоприимца – молитвенника твоего – поднимешься, гляди, из мрака до высот. Вино – испиваешь?

– Нет, – сказал Сима, вздохнув, – вредно мне!

– Так! Это тоже похвально! – произнес отец Исаия, а когда поэт подошел под благословение – сунул ему в руку три больших пятака и объяснил: – Это тебе на нужды твоя и за труды по чтению сочинения, кои – повторю – весьма и весьма заслуживают всяческих похвал.

Приглашали Симу и другие образованные люди города; он торопливо и робко говорил стихи, глотая слога и целые слова, и уходил, одаренный двугривенными и гривенниками.

Даже торговцы базара иногда зазывали его в лавки и, внимательно прослушав, награждали пятачком или алтыном. Некоторые, помоложе, советовали:

– Ты бы, парень, веселое выдумал чего-нибудь, а то уж скучно больно! Веселое-то – можешь?

– Нет, – отвечал Сима печально и виновато.

– Это жаль!

Доктор Ряхин, заставив поэта прочитать стихи, воскликнул, усмехаясь:

– Вот еще одна жертва ненужная!

А потом записал несколько стихотворений, обещая куда-то послать их, но при этом сказал, потирая свои сухие руки:

– Длиннейший мой юноша! Все это, может быть, и недур-

но, только – едва ли своевременно, да! Ничего не обещаю, но непременно же пошлю в разные места.

Он денег Симе не дал.

Девушкин начал прятаться от людей, ходил в город всё реже и только когда не мог избежать этого. Ясно видел, что никому не нравится, все смотрят на него с любопытством и нет людей, которые привлекали бы его сердце. Его длинная фигура, с неуклюжею головою на уродливо тонкой шее, желтое, костлявое лицо и пустые глаза, его робость, скрипучий, срывающийся голос и неподвижные, лишние руки – весь он не возбуждал в людях симпатии.

Наконец случилось нечто, оттолкнувшее от него горожан.

Однажды податной инспектор Жуков удил рыбу неподалеку от Симы и вдруг обратился к нему с приказанием:

– Эй, чучело! Напиши-ка мне стихи, я тебе трешницу дам – слышишь? Знаешь Розку? Ну, вот про нее напиши что-нибудь этакое, с перцем! Понял? Завтра вечером приди к Фелицате и прочитай – я скажу, чтобы тебя пропустили!

Сима не ответил ему и, просидев еще минуты две, ушел, незаметно для Жукова. Он не любил этого толстого рыжего человека с маленькими глазками и огромными ушами. Знал, что Жуков великий похабник, что с похмелья он любит мучить людей и животных и что все окрестные мужики ненавидят инспектора. После того, как Сима сблизился с Лодкой, Жуков стал еще более неприятен ему: порою он представлял себе, как толстые красные руки этого человека тянутся к те-



ду его подруги – тогда в груди юноши разливался острый холод, ноги дрожали, он дико выкатывал глаза и мычал от горя.

Он сочинил о Жукове длинные стихи, часто бормотал их про себя и однажды сказал Лодке. Она долго и зло смеялась, много целовала Симу и говорила:

– Так его, свинью! Хорошо!

А через несколько дней после этого Симу встретил письмоводитель податного, картежник Иванюков, и завопил:

– Ага-а! Тебя-то мне и надо! Уж я тебя, шило, искал, искал! Идем к податному, он тебя требует!

– Не хочу, – сказал Сима, отходя прочь.

Но Иванюков схватил его за рукав рваного пальто и громко спросил:

– А в морду, сударь, хотите получить?

И вот Сима очутился перед лицом Жукова; инспектор, лежа на диване, хрипло говорил ему, улыбаясь во всё лицо свое:

– Что же ты, скот, написал стихи, читаешь их везде, а я ничего не знаю, а? Ведь это я тебе заказал?

Сима весь налился страхом, злостью и тоской, и неожиданно для себя, незнакомым себе, высоким, взвизгивающим голосом, он начал:

– Его благородию Жукову Евсею... – Передохнув, он объяснил, покачиваясь на ногах и точно плавая в тумане: – Отчество я потому выкинул, что оно не ложится в стих, – Лидорович – так и не зовут никого!

– Что-о? – удивленно спросил Жуков. – А ты читай, дубина!

Сима начал:

Правду рассказать про вас  
Я никак не смею,  
Потому – вы за нее  
Сломите мне шею.

– Ну и глуп! – проворчал Жуков.

Будь я ровня вам – тогда  
Я бы не боялся  
И без всякого труда  
Над вами посмеялся.

Жуков поднял голову и начал кашлять, тяжело спуская ноги с дивана, – его движение испугало Симу, он тоже остановился и кашлянул.

– Ну, что же? – хрипя и отплевываясь, проворчал Жуков.

Сима медленно выговорил:

Стыдно мне смотреть на вас,  
Стыдно и противно...

Податной вытарачил глазки и, шевеля пальцами, протянул негромко:

– Что-о?

Поэт, вздрогнув, согнулся, быстро выскочил из комнаты и почти три недели прятался где-то. После он рассказывал слобожанам, что Жуков закричал ему – убью! – и бросил в него сапогом.

Эта сцена стала известна в городе.

– Захвалили парнишку, он и зазнался! – говорили на Шихане. – Они, слободские, один другого озорниковатее, их привечать – опасно!

Но в семи тысячах жителей Окурова и Заречья был один человек, относившийся к поэту серьезно: каждый раз, когда Сима, получив от Лодки спешно-деловую ласку, выходил из «райшка», – у ворот его останавливал квадратный Четыхер.

– Ты? – спрашивал он, хотя знал и видел, чье длинное тело робко и неловко вылезает из калитки.

– Ну-ка, сядь! – предлагал он.

И когда Сима садился рядом с ним на лавке – он, положив на плечо или колено поэта широкую ладонь, тихонько просил:

– Ну-ка, скажи стишки!

Сима говорил, а Четыхер, вздыхая, украдкой крестился и снова просил:

– Ну-ка еще!

Юноше нравилось читать свои сочинения этому человеку, и он для него читал особенно: не торопясь, мягким шепотом, старался придать любимым словам особую значительность и порою таинственно толкал слушателя, подчеркивая этим

толчком слово или строчку, которые ему казались особенно важными.

Здесь, под воротами старого дома, когда-то наполненного иной жизнью, Сима как будто чувствовал, что он хоронит свои мысли без обиды и с честью, что встречают их не холодное любопытство и жалость, отрицающие его душу, а нечто иное, возбуждавшее в нем приятную гордость.

Из глубины все еще важных развалин дворянского дома порою долетали визги девиц, тенор Коли-телеграфиста, колокольный голос Ваньки Хряпова, сына ростовщика, бойкие песни Фимки Пушкаревой, звон гитары – но все эти звуки тоскливой и пьяной жизни не мешали Симе и его слушателю.

– Ну-ка еще! – просил Четыхер, разглядывая из-под мохнатых рыжих бровей серебристое сияние Млечного Пути, радостное горение звезд, медленный ход медного круга луны или тихий бег облаков; смотрел Четыхер, слушал и, двигая плечом, незаметно крестился.

Тяжко спали изжеванные и обкусанные нищетою, оборванные диким озорством, темные избушки слободы, тесно окружая усадьбу Воеводиных, – точно куча мелкого мусора большую изломанную игрушку. Сима плотно прижимался к дереву ворот и, не уставая, читал.

Но иногда поспешные, милостивые и тепленькие ласки его возлюбленной поднимали в груди юноши тошное ощущение обиды, он вспоминал торопливые слова женщины, деловые движения ее тела и с унылою горечью думал:

«Хоть бы раз один дала мне полюбоваться собой! Другие-то...»

Читать ему не хотелось, голос звучал вяло, сердце не входило в слова.

– Ну, ладно, спасибо! – говорил Четыхер и совал в руку три копейки или пятак.

– Не надо же! – говорил Сима, отдергивая руку.

– Ну-ка, а ты – бери! Я ведь – один. Мне хватит.

Боясь обидеть Четыхера, Сима брал монету и шел в поле.

Вечерами на закате и по ночам он любил сидеть на холме около большой дороги. Сидел, обняв колена длинными руками, и, немотствуя, чутко слушал, как мимо него спокойно и неустанно течет широкая певучая волна жизни: стрекочут хлопотливые кузнечики, суетятся, бегают мыши-полевки, птицы летят ко гнездам, ходят тени между холмов, шепчут травы, сладко пахнет одонцем, мелиссой и бодягой, а в зеленовато-голубом небе разгораются звезды.

В такую лунную ночь пред ним незаметно явился Тиунов и спросил, постукивая палочкой по сапогу:

– Что – стишки выдумываешь?

– Да, – сказал Сима, смущенный.

Крутя головой, Тиунов обвел его взглядом и ласково одобрил:

– Так! Ну, сочиняй, бог тебе в помощь!

И пошел тихонько прочь. Он показался Симе добрым и нужным сегодня – юноша встал и поплелся за ним.

Кривой обернулся, подождал и вновь окинул Симу взглядом.

– Как же это ты сочиняешь, интересно мне?

Юноша обрадовался, охотно и легко он стал говорить.

– Сначала – я думаю. Я даже всегда думаю, Яков Захарович. От этого, надо быть, испортилось у меня сердце – стеснение в нем и тоска. А иной раз – забьется оно, как птица, и вдруг – остановится.

– Так! – сказал кривой, усердно тыкая палочкой в голову своей тени, косо лежавшей у ног его. – А о чем же, малый, ты думаешь?

– Обо всем, Яков Захарович! – виновато сказал юноша. – Кто встретится или вспомнишь кого – человека ли, собаку ли... Птицы тоже...

– Так, так!

Тиунов почесал переносицу и тихонько двинулся вперед. Сима шел рядом, рассказывая.

– Кроме птиц – все толкуются на одном месте. Идет человек, наклоня голову, смотрит в землю, думает о чем-то... Волки зимой воют – тоже и холодно и голодно им! И, поди-ка, всякому страшно – всё только одни волки вокруг него! Когда они воют, я словно пьяный делаюсь – терпенья нет слышать!

Луна светила сзади них, тени ползли впереди: одна – покороче, другая – длиннее, обе узкие. Одна – острая, двигалась вперед ровными толчками, другая – то покрывала ее,

то откидывалась в сторону, и снова обе сливались в бесформенное темное пятно, судорожно скользившее по земле.

Спотыкаясь, Сима объявил:

– У меня даже стишок сочинен про волков! – приостановился и начал читать:

Ходят волки по полям да по лесам,  
Воют, морды поднимая к небесам.  
Я волкам – тоской моей,  
Точно братьям, – кровно сроден,  
И не нужен, не угоден  
Никому среди людей!  
Тяжело на свете жить!  
И живу я тихомолком.  
И боюсь – серым волком  
Громко жалобу завывать!

Тиунов взмахнул палочкой, поглядел в небо, в даль и себе под ноги.

– А веселое – не склонен сочинять? – спросил он, вздыхая.  
Сима, тоже оглянувшись, ответил виновато:

– Про податного Жукова сочинил, да плохо вышло. Артюшка поет:

Как живут у нас в Заречье  
Худы души человечьи...

Это я же составил! А то еще про город...

– Что – про город?

– А вот! – юноша снял с головы старенький картуз, за-  
чем-то распялил его перед лицом и начал тихонько:

Эх, попел бы я веселых песен!  
Да кому их в нашем месте нужно?  
Город для веселья – глух и тесен,  
Все живут в нем злобно и недужно.  
В городе у нас – как на погосте —  
Для всего готовая могила.  
Братцы мои! Злую склоку бросьте,  
Чтобы жить на свете легче было!

Замолчал.

– Всё?

Кривой нацелился глазом в лицо юноши и, усмехаясь,  
спросил:

– Какое же тут веселье? Дурачок!

Помолчав, он повторил:

– Эхе-хе, дурачок!

Юношу не обидело грустное и ласковое восклицание, он  
даже улыбался, говоря:

– Ведь я не сказал, Яков Захарович, что это – веселое.

– Не сказал разве?

– Не-ет!

– Так! Ну ладно!

Слева от них, в темном ельнике болота, гулко крикнул пу-



гач – тишина всколыхнулась и снова застыла, как масло. Далеко впереди середь поля вспыхнул тихий огонь и стал быстро разгораться, вздрагивая и краснея.

– Вон, – сказал кривой, – видать, мужики из Балымер в ночном светец разложили. Свежевата ночка-то!

– Стихами, Яков Захарович, мне легче думать, а простые слова труднее складываются у меня. Мне все хочется, чтобы стихи-то как молитвы были, а как это надо делать – не знаю! Ежели длинный стих, то будто молитвеннее выходит – а так ли? Вот еще стихи, про город тоже:

Снова тучи серые мчатся над болотами.  
Разлилася в городе тишина глубокая.  
Люди спят, измучены тяжкими заботами,  
И висит над сонными небо одноокое...

– Какое небо-то? – удивленно спросил Тиунов.

– Одноокое, – смущенно ответил Сима и отодвинулся от спутника, виноватым голосом объясняя: – Оно ведь всегда одноглазое: днем солнце, а ночью – луна только.

– Кривое, стало быть, как я? – сказал Тиунов, посмеиваясь. – Это ничего, ловко! Только – звезды забыты тобой.

– При полной-то луне – какие звезды?

– М-м... верно, маловато их! Да! Потом вот тучи, говоришь, и – луна?

– Это бывает! Бегут тучи, а между них – луна, и всё небо – вздрагивает, будто ломается...

Тиунов замолчал, а Сима тихонько прибавил:

– Я назвал небо-то однооким – забыл про вас, ей-богу!

– Ничего! – сказал кривой.

– Дальше у меня так идут стихи:

В небе тучи гонятся за слепой луной,

Полям тихо крадется чья-то тень за мной...

– Всё ты да ты! – вдруг заговорил Тиунов. – Ты, да я, да сватья, – только и зная! Да голодное житье, да смерть!

Юноше очень хотелось рассказывать Тиунову свои стихи, но кривой, видимо, не хотел слушать: помахивал палочкой, он тихонько шагал и говорил:

– Всё это, конечно, действует в жизни – и бедность есть и смерть, а людей, однако, не одолевает! И дедушка мой голодал, и отец голодал, а и сам я не больно сытно живу. И они – померли, и я помру – верно!

Вспоминая свои стихи, Сима не ответил.

– Ну, помру, и – ни синь пороха после меня не останется! – убедительно говорил Тиунов. – Злодей помрет – люди скажут: ах, какой злодей был! Добрый помрет – добром помянут. Бывает – и собаку дохлую жалко людям. Кошек тоже часто вспоминают: хорош, дескать, зверь был, умный или там – ласковый, мышей ловко хватал. А помрут Яков Тиунов, Семен Девушкин – и никто ничего не скажет. Были мы али нет – это всем всё равно. Вот ты бы о чем подумал, малый,

об этом вот! Да! Подумай! Дело – важное! Ты – человек одинокий, а одинокие-то люди и есть самые лучшие, верные слуги миру.

Сима – молчал. Ровная и мягкая речь кривого не мешала смутным мыслям юноши искать нужных слов.

– А ты будь нужен людям не столь в горе, сколько в радости, ты их с радостью полюби! Горе, малый, дешево! В нем – как арестанты в серых халатах своих – все людишки одинаковы: ни дворяне, ни мещане не отличны. А ты – в радость иди, покажи людям радость – птицу редкую, птицу райскую – вот! Вот у тебя есть – скажем – талант, ты его серьезно полюби! Надо, брат, всё полюбить: инструмент, которым работаешь, – долото, например, – и его полюби тоже! Оно тебя поймет, хоть и железо, а – полюбив твою руку – оно тебе в работе сильно может помочь.

Полеми идут двое —  
Старый с молодым...

– складывалось в голове Симы. Он спотыкался и прости-рал вперед прямые, длинные руки:

Перед ними – тени  
Стелются, как дым...

В сумраке души, в памяти, искрами вспыхивали разные слова, кружились, как пчелы, одни исчезали, другие соеди-

нялись живую цепью, слагали песню – Симе было жутко и приятно, тихая радость ласкала сердце.

– Вот, гляди! – задумчиво текла речь кривого. – Живут в России люди, называемые – мещане. Кто их несчастнее? – подумай. Есть – цыгане, они всё бродяжат, по ярмаркам – мужиков лошадьми обманывают, по деревням – кур воруют. Может, они и не делают ничего такого, ну, уж так говорится про них. А мещане хоть больше на одном месте трутся – но тоже самые бесполезные в мире жители...

Юноша, глядя вперед бездонным взглядом круглых глаз, шаркал ногами по земле, и ему казалось, что он легко поднимается в гору.

Старый молодому  
Что-то говорит,  
Впереди далеко  
Огонек горит...

Вдали, над темной гривой Чернораменского леса, поднялась тяжелая туча и гасила звезды. Огонь костра взыграл ярче, веселее.

– Мне, малый, за пятый десяток года идут, и столько я видел – в соборе нашем всего не сложишь, на что велик храм! Жил я – разное, но больше – нехорошо жил! И вот, после всего, человеческое мое сердце указывает: дурак, надобно было жить с любовью к чему-нибудь, а без любви – не жизнь!

Сима, улыбаясь, сочинял:

Узкою тропинкою  
Тесно им идти,  
Покрывают тени  
Ямы на пути.  
Оба спотыкаются,  
Попадая в ямы,  
Но идут тихонько  
Дальше все и прямо.  
Господи владыко!  
Научи ты их,  
Как дойти средь ночи  
До путей твоих!

Он остановился и радостно вскричал, схватив кривого за рукав:

– Яков Захарович, а я сейчас еще стихи сочинил, ей-богу, вот только сейчас! Слушайте!

Когда он сказал стихи свои, кривой ткнул в лицо ему темный свой глаз и одобрительно заметил:

– Ну вот! Ишь ты ведь...

– Ах, господи! – тихонько воскликнул Сима. – Это такая, знаете, радость, когда сочинишь что-нибудь, даже плакать хочется...

– И хорошо. Именно это миру и надобно – радость! А пора нам повернуть – эго, сколь места отхватали!

Повернули. Идти стало светлее – тени легли сзади, пошли

ближе друг к другу.

– Главное, малый, – раздавался в тишине ночи спокойный голос Тиунова, – ты люби свою способность! Сам ты для себя – вещь неважная, а способность твоя – это миру подарок! Насчет бога – тоже хорошо, конечно! Однако и поговорку помни: бог-то бог, да и сам не будь плох! А главнейше – люби! Без любви же человек – дурак!

Их догоняла предвестница осени, тяжелая черная туча, одевая поле и болото бархатом тени, а встречу им ласково светил полный круг луны.

– Эх, Семен, Семен! – вздрагивал глуховатый голос Тиунова. – Сколько я видел людей, сколько горя постиг человеческого! Любят люди горе, радость – вдвое! И скажу тебе от сердца слово – хорош есть на земле русский народ! Дикий он, конечно, замордованный и весьма несчастен, а – хорош, добротный, даровитый народ! Вот – ты погляди на него пристально и будешь любить! Ну, тогда, брат, запоешь!

Сима улыбался, толкая кривого острым плечом. Помолчав, Тиунов убедительно прибавил:

– Хорош народ! И – аминь!

Рыжая девица Паша несла в «раишке», кроме специального труда, обязанности горничной: кухарка будила ее раньше всех, и Паша должна была убирать зал – огромную, как сарай, комнату с пятью стрельчатыми окнами; два из них были наглухо забиты и завешены войлочным крашеным ковром.

Потолок зала пестро расписан гирляндами цветов, в них запутались какие-то большеголовые зеленые и желтые птицы и два купидона: у одного слиняло лицо, а у другого выкрошились ноги и часть живота.

Матрена Пушкарева, кухарка, сообщила Паше, что потолок расписывал пленный француз в двенадцатом году, и почти каждое утро Паша, входя в зал с веником и тряпками в руках, останавливалась у дверей и, задрав голову вверх, серьезно рассматривала красочный узор потолка, покрытый пятнами сырости, трещинами и копотью ламп.

Иногда Матрена окликала ее:

– Ты что, лешая, опять вытарщила буркалы? Убирай скорее, встают уж все...

Улыбаясь, Паша отвечала:

– Сейча-ас! Уж больно француз этот ловок! И как он писал, тетя? Не иначе – лежа надо было писать ему, ай?

Матрена сердилась.

– Тебе бы всё лежа и жить! Погоди, околеешь – пролежишь, толстомясая, до косточек бока-то твои!

– Где-то он теперь, французик бедненький? – вздыхая, мечтала Паша.

Часто бывало так, что, любуясь работой француза, девушка погружалась в дремотное самозабвение, не слышала злых криков хозяйки и подруг; тогда они, сердитые с похмелья, бросались на нее, точно кошки на ворону, и трепали девицу, вытирая ее телом пыль и грязь зала.

Когда Пашу били – она не сопротивлялась, а только пыхтела, закрыв глаза; уставали бить ее – она плакала и жаловалась не сразу: сначала посмотрит, где и как на ней разорвана одежда, потом уходит на двор и там начинает густо, басом, выть и ругаться.

На ее рев с улицы в калитку высовывалась огромная голова Четыхера, он долго слушал жалобы Паши молча, наконец они ему, видимо, надоедали – тогда привратник пренебрежительно убеждал ее:

– Ну-ка, перестань ты! Бесстыдница. Орешь тут, а люди слышат! Эй! Люди-то слышат, мол!

– Чай – больно! – успокаиваясь, объясняла Паша.

Четыхер разумно говорил:

– Для того и бьют.

Однажды ночью, во время кутежа, пьяный Немцев и Ванька Хряпов грязно обидели Пашу, она вырвалась от них, убежала на двор и там, прислонясь у ворот, завывала.

– Опять плачешь? – спросил Четыхер, приотворив калитку.

– Дяденька! – воскликнула девица сквозь рыдания. – Что я за несчастная? Господи!

– Ну-ка, перестань! – посоветовал Четыхер.

А она не переставала.

Четыхер послушал ее вопли еще несколько времени и сказал, тяжело вздыхая:

– Ну, и голос же! Ах ты, чтоб те сдохнуть! Ин подь сюда!



Вывел ее на улицу, оглянулся, посадил на лавку, сел рядом с ней и начал уговаривать.

– Ну – молчи! Сиди. Вот – ночь-то какая теплая. И никого нет. Кто тебя обидел?

Всхлипывая, Паша стала рассказывать, как ее обидели, но Четыхер брезгливо остановил:

– Ну – ладно! Не люблю я пакостей этих. Молчи знай!

Она покорно замолчала, прислонясь к нему плечом; человек попробовал отодвинуться от нее – некуда было. Тогда, сунув длинные руки между колен своих, он наклонился и, не глядя на нее, забормотал:

– Чу – Марьушина собака воеет, слышишь? Держат пса на цепи не кормя, почитай, это – чтобы пес-от злее был. Видишь, как хорошо ночью на улице-то? Народу совсем никого нету... То-то! Вон – звезда упала. А когда придет конец миру, они – снегом, звезды-то, посыпятся с неба. Вот бы дожить да поглядеть...

Говорил он долго. Порою его глаза, невольно косясь направо, видели ноги девицы, круглый ее локоть и полуприкрытую грудь. Он чувствовал, что ее тяжелое тело всё сильнее теснит его, – Четыхеру было тепло, приятно; не разжимая колен, он вытянул из них правую руку, желая обнять Пашу, и вдруг услышал сонный храп.

– Али спишь? – удивленно и тихонько спросил он. Не ответила.

– Ну-ка! – сказал Четыхер, пошевелив плечом. Она, слад-

ко чмокнув губами, спокойно и глубоко вздохнула. Человек посмотрел в лицо девушки, осыпанное рыжими прядями растрепанных волос, – рот Паши был удивленно полуоткрыт, на щеках блестели еще не засохшие слезы, руки бессильно повисли вдоль тела. Четырехер усмехнулся и, качая голову, проворчал:

– Эка дура! Вот дуреха-то!

И крепкий ее сон и детская беспомощность тела вызвали у него доброе удивление. Поглядывая на нее сбоку и успешно побеждая произвольные движения своих длинных рук, он долго, почти до света, смирененько сидел около нее, слушая, как в доме ревели и визжали пьяные люди, а когда в городе, на колокольне собора, пробило четыре часа, разбудил ее, говоря:

– Ну-ка, иди ко мне в сторожку! Эй, иди-ка! А то сейчас полезут эти все...

– Как это я заснула? – удивленно оглядываясь, спрашивала Паша.

– А так – закрыла глаза да и спишь.

– Ах ты, господи...

– Ну, иди знай...

Отворил калитку перед ней и, проводив глазами белую фигуру ее до поры, пока она не скрылась в его комнатенке, рядом с кухней, привратник громко хлопнул створом и, широко расставив ноги, долго смотрел в землю, покачивая головой.

Эта ночь ничего не изменила в отношениях Паши и Четыхера, но скоро девушку опять побили.

Однажды, после сильного кутежа, Лодка проснулась в полдень полубольная и злая: мучила изжога, сухую кожу точно ржавчина ела, и глазам было больно. Спустив ноги на пол, она постучала пяткой в половицу; подождав, постучала еще сильнее, а затем начала колотить по полу ногами яростно, и глаза у нее зловеще потемнели.

Когда явилась Паша, она швырнула башмаком в голову ей, дико ругаясь, изорвала на ней кофту и столкнула девушку с лестницы.

Снова Паша плакала, и снова явился Четыхер – видимо, только что проснувшийся, растрепанный и суровый.

– Ну чего? – спросил он.

– Глафира меня...

– За что?

– Да разве я знаю, господи...

– Господи! – передразнил он густой голос девушки и тоном хозяина приказал: – Иди, умой рожу-то!

Шмыгая носом, она пошла в дом, а Четыхер, вытянув руку вперед и тыкая пальцем вслед Паше, сумрачно объявил:

– Я вам покажу – драться!

Сильным ударом ноги отшвырнул далеко прочь какой-то черепок и решительно пошел в кухню, где шумно спорили Фелицата с кухаркой. Открыв дверь, он заполнил ее своим квадратным телом и, прерывая речь хозяйки, сказал:

– Вот что – Пелагею вы зря бьете...

– Ты что, Кузьма? – усталым голосом спросила хозяйка, не поняв его слов.

– Я говорю – пошто Пелагею бьете? – повторил Четыхер, схватившись руками за косяки.

И дородная Матрена Пушкарева и сама Фелицата Назаровна Воеводина удивленно вытаращили глаза: почти три года человек смиренно сидел у ворот, всегда молчаливый, всем послушный, ни во что не вмешиваясь, но вот – пришел и, как имеющий власть, учит хозяйку.

– Бить нельзя. Она – как ребенок. Глупая она.

Фелицата Назаровна негромко и рассыпчато засмеялась, вскинула голову и подошла к нему. Сегодня ее волосы были причесаны вверх короной, увеличивая рост хозяйки; широкий красный капот, браслеты и кольца на руках, лязг связки ключей у пояса, мелкие, оскаленные зубы и насмешливо прищуренные глаза – всё это принудило дворника опустить и руки и голову.

– Ты кто здесь? – ехидно спросила Фелицата.

Он, открыв рот, промычал что-то несвязное.

– Пошел вон! – приказала хозяйка, взмахнув рукой.

Четыхер тяжело повернулся, пошел и слышал, как она сказала:

– Ишь ты, батюшка! Не выспался, видно!

Остановясь на крыльце, он схватил рукою перила лестницы, покачал их – дерево дряхло заскрипело. А в кухне умиль-

но скрипел рабий голос Матрены:

– Ка-ак он выкатился, а ба-атюшки!

– У меня просто!

– Ну, уж и храбрая вы, ах!

– Я, матушка моя, дворянка.

– Уж и правда, что генеральша!

– Дворяне никого не боятся! Мне стоит сказать одно слово Немцову – так этот леший невесть где будет! Там в городе разные шепоты шепчут о всяких пустяках, видно, и сюда ветер что-то доносит. Вот он и осмелел. Ну – меня, голубчик, не испугаешь – нет!

Четыхер оглянулся, замычал, точно больной бык, и пошел по двору, кривыми ногами загребая бурьян, гнилые куски дерева, обломки кирпичей – точно пахал засоренную, оброшенную землю.

А Лодка умылась, не одеваясь, выпила чашку крепкого чая и снова легла, чувствуя сверлящие уколы где-то в груди: как будто к сердцу ее присосалась большая черная пиявка, пьет кровь, растет и, затрудняя дыхание, поднимается к горлу.

Перед нею неподвижно стояли сцены из прожитой утомительной ночи: вот пьяный Жуков, с дряблым, прыщеватым телом – хочет плясать, грузно, как мешок муки, падает навзничь и, простирая руки, испуганно хрипит:

– Поднимите меня! Скорей!

Раздражительный Немцев прыгает русскую перед Фели-

цатой, стучая по полу костлявыми пятками, и визгливо повторяет:

– Эх-ну! Последние деньки наши! Разделявай, дворянка!

Доктор, позеленевший от множества выпитого им вина, все дразнил Розку, доводя ее до злых слез, и шутил какие-то страшные шутки. А телеграфист Коля почему-то расплакался, стучал кулаками по столу и орал:

– Мертвецы! Мертвецы вы!

Его обливали водой, терли за ушами спиртом, потом он уснул, положив голову на колени Фелицаты. И даже Ванька Хряпов, всегда веселый и добродушный, был пасмурен и всё что-то шептал па ухо Серафиме Пушкаревой, а она, слушая его, тихонько отирала слезы и несколько раз поцеловала Ивана в лоб особенным поцелуем, смешным и печальным.

Веселились необычно, без расчета: швыряли деньгами так, словно все вдруг разбогатели, привезли дорогого вина, держались с девицами более грубо, чем всегда, и все говорили друг другу что-то нехорошее и непонятное.

Тяжело было с ними и боязно. Хозяйка шепотом предупредила Лодку и Розку:

– Поменьше пейте сами-то! Гости сегодня не хороши в себе!

Дверь тихо отворилась. Лодка приподняла голову – в комнату, ласково улыбаясь, смотрело бледное лицо Симы.

– Не спишь?

Лодка недовольно приоткрыла глаза, тихо ответив:

– Нездоровится мне.

Он осторожно, на пальцах ног, подошел к ней, склонился, заглядывая в глаза.

– Можно мне посидеть у тебя?

И когда она утвердительно кивнула головой, Сима тихо примостился на краю кровати, положил белую руку Лодки на колено себе и стал любовно гладить ладонью своею горячую пушистую кожу от локтя до кисти.

– Вчера, сидя на большой дороге, еще стихи сочинил, – сказать?

– Про богородицу? – сквозь зубы спросила Лодка.

– Нет, так – про жизнь. Сказать?

– Ну, скажи, – вздохнув, разрешила женщина.

Господи – помилуй!

Мы – твои рабы!

– начал Сима шепотом. Лодка поучительно заметила:

– Всё ты – про одно и то же! Это не больно трудно всегда про одно говорить.

Сима усмехнулся и, покорно опустив голову, замолчал.

– Ну? – закрыв глаза, спросила Лодка.

Он снова забормотал скороговоркой чуть слышно:

Господи – помилуй!

Мы – твои рабы!

Где же взять нам силы

Против злой судьбы  
И нужды проклятой?  
В чем мы виноваты?  
Мы тебе – покорны,  
Мы с тобой – не спорим,  
Ты же смертью черной  
И тяжелым горем  
Каждый день и час  
Убиваешь нас!

– Что ты всё жалуешься? – перебила его Лодка, неприязненно хмурясь. – Ты бы лучше мне сочинил хоть какие-нибудь любовные стишки, а то – господи да господи! Что ты – дьячок, что ли? Любишь, а стишков не догадаешься сочинить!

Сима перестал гладить ее руку и отрицательно замотал головой.

– Не умею я про женщин...

– Любить – научился, ну, и этому научись, – серьезно сказала женщина.

Приподнялась, села на постели и закачалась, обняв колена руками, думая о чем-то. Юноша печально осматривал комнату – всё в ней было знакомо и всё не нравилось ему: стены, оклеенные розовыми обоями, белый гляцевый потолок, с трещинами по бумаге, стол с зеркалом, умывальник, старый пузатый комод, самодовольно выпятившийся против кровати, и ошарпанная, закоптевшая печь в углу. Сумрак этой



комнаты всегда – днем и ночью – был одинаково душен.

– Врешь ты! – задумчиво и медленно начала говорить Лодка. – Врешь, что не умеешь про женщин. Вон как про богородицу-то сочинил тогда:

Чтоб мир избавить ото зла,  
Ты сына миру отдала.

Да! – Она вдруг как-то злобно оживилась и, щелкнув языком, прищурила глаза: – Да-а, а они, сукины дети, образованные, и про нее пакостные стихи составляют! Ух, свиньи!

Сима искоса посмотрел на ее обнаженную грудь и беспомощно задвигал руками, словно они вдруг помешали ему.

– Ты бы послушал, какие про нее стишки знает доктор, дрянь рвотная!

Она вытянула ноги, легко опрокинула Симу на колени себе и наклонилась над ним, почти касаясь грудью его лица. Юноше было сладостно и неудобно – больно спину: длинное тело его сползало на пол, он шаркал ногами по половицам, пытаясь удержаться на кровати, и – не мог.

– Упаду сейчас, – смущенно сказал он.

– Ой, неуклюжий! Ну?

Помогла ему сесть, обняла и, ласково заглядывая в глаза, попросила:

– Сочини, а?

– Чего?

– Смешное.

– Да что же смешное есть? – тихо спросил юноша.

– Про меня что-нибудь. А то...

Замолчала и долго испытующе смотрела в светло-бездонные глаза, а потом, закрыв их мягкой ладонью, сказала, вздыхая:

– Нет, ты не можешь! Ты у меня – робкий. А они – они про всё могут смешно говорить!

– Про бога – нельзя! – напомнил тихонько Сима.

Снова помолчав, Лодка грубо толкнула его в бок и сказала капризным голосом:

– Не щекотай! Руки холодные, – не тронь!

Юноша приподнял голову – ее рука соскользнула со лба его. Он посмотрел глазами нищего в лицо ей и, печально улыбаясь, проговорил:

– Не любишь ты меня. Не нравлюсь я тебе.

Закинув руки за голову и глядя в потолок, женщина рассуждала:

– Если б я умела, так я бы уж сочиняла всегда одно смешное, одно веселое! Чтобы всем стыдно было. Обо всем бы – ух!

Сима повторил, касаясь рукою ее груди:

– Не любишь ты меня.

– Ну, вот еще что выдумал! – спокойно сказала она. – Как же не люблю? Ведь я денег не беру с тебя.

И, подумав, прибавила, играя глазами:

– Я всех мужчин люблю – такая должность моя!

Юноша вздохнул, спустил ноги на пол и сел, жалобно говоря:

– Кабы ты хоть немножко любила меня – об этом надо бы сказать Вавиле-то! А то – стыдно мне перед ним...

Она обеспокоилась, гибко вскочила, обняла Симу и внушительно стала убеждать его:

– Ты этого и не думай, ни-ни! Слышишь? Я – только тебя люблю! А Вавило... он, видишь, такой... он человек единственный...

Она закрыла глаза и вся потянулась куда-то.

– Я с ним – отчего? – спокойнее и увереннее продолжала она. – От страха! Не уступи-ка ему – убьет! Да! О, это он может! А тебя я люблю хорошо, для души – понял?

Все крепче обнимая худое, нескладное тело, она заглядывала в глаза юноши темнеющим взглядом, а между поцелуями рассудительно доказывала:

– Мне за любовь эту чистую много греха простится – я знаю! Как же бы я не любила тебя?

Сима трепетал под ее поцелуями, точно раненый журавль, горел жарким огнем и, закрыв глаза, искал губами ее губ.

Женщина еще более торопливо, чем всегда, отдавалась ему, без радости и желания, деловито говоря:

– Ты – не беспокойся!

И после ласково, вкрадчиво шептала:

– Попробуй, Симушка, сочини что-нибудь такое, чтобы

люди забоялись тебя! Ты – будь смелее! Ведь обо всем можно сказать, что хочешь, – вон, смотри-ка, образованные-то как говорят! И все уважают их. А они и архангелов даже осмеляли, ей-богу!

Глаза ее были широко открыты, в них сверкали зеленоватые искры, лицо горело румянцем, дышала она часто, и груди ее трепетали, как два белые голубя.

Юноша гладил дрожащей рукой щеку ее, смотрел в наивные глаза и, снова разгораясь, слушал ласковый шепот:

– Мне тебя любить – одна моя заслуга... Ведь я же знаю, что великая грешница я, всей жизнью моей...

Город был весь наполнен осторожным шепотом – шептались и обыватели и начальство, только один Коля-телеграфист говорил громко и день ото дня становился всё более дерзким в речах.

Франтоватый, юркий, худенький, он, храбро вздернув острый нос в пенсне кверху, метался по городу и всюду сеял тревожные слухи, а когда его спрашивали:

«Да почему ты знаешь?», многозначительно отвечал:

«Уж это верно-с!» И молодежато одергивал свою щегольскую тужурку.

Доктор Ряхин, покашливая, убеждал его:

– А вы, батя, не волновались бы. Вы рассуждайте философски: человек не может ни ускорять событий, ни задерживать их, как не может он остановить вращение земли, разви-

тие прогрессивного паралича или, например, этот идиотский дождь. Всё, что должно быть, – будет, чего не может быть – не будет, как вы ни прыгайте! Это, батя, доказано Марксом, и – значит – шабаш!

– Но, Алексей же Степанович! – восклицал Коля, вытягиваясь куда-то к потолку. – Должны же люди что-нибудь делать?

– Указано им – плодитесь, множьтесь и населяйте землю, всё остальное приложился вам! И, ей-богу, миленький, ни на что более сложное, чем это простое и приятное занятие, не способны люди, и вы, дорогой, из их числа!

– Господи! Какой же вы мрачный человек в речах ваших!

– Такова позиция человека уездного, ибо – как сказано во всех географиях – население русских уездных городов сплошь состоит из людей, занимающихся пьянством, карточной игрой и мизантропией. А вы – дрыгаете ножкой, – к чему? Вам конституции хочется? Подождите, миленький, придет и конституция и всякое другое благополучие. Сидите смиренно, читайте Льва Толстого, и – больше ничего не нужно! Главное – Толстой: он знает, в чем смысл жизни, – ничего не делай, всё сделается само собой, к счастью твоему и радости твоей. Это, батя, замечательнейший и необходимейший философ для уездных жителей.

– Вы говорите совсем как Тиунов! – уныло воскликнул Коля.

– Тиунов? Ага, переплетчик!

– Он, собственно, часовщик.

– Весьма вероятно, и часовщик. Уездный житель всё делает, но ничего не умеет.

– Фу, боже мой! – вздыхал огорченный юноша и уходил, чувствуя себя ощипанным.

Доктор, снедаемый каким-то тайным недугом, был мало понятен Коле, но привлекал его шутовской иронией речи, возбуждавшей в голове юноши острые, дерзкие мысли. Ему нравилась и внешность доктора, напоминавшая тонкий хирургический инструмент в красивом футляре, нравилось уменье Ряхина завязывать галстук пышным бантом, его мягкие рубашки, ловко сшитые сюртуки, остроносые ботинки и округлые движения белых ловких рук. Он любил видеть, как на бледном лице вздрагивают тонкие губы жадного рта, играют насмешливо прищуренные глаза. Иногда доктор возбуждал в Коле тоску своими насмешками, но чаще эти речи наполняли юношу некоторой гордостью: повторяя их знакомым, он вызывал общее удивление, а это позволяло ему чувствовать себя особенным человеком – очень интеллигентным и весьма острого ума.

Но и после охлаждающих разговоров с доктором Коля чувствовал и видел всюду в городе тревожное, хмурое любопытство: все беспокойно ожидали чего-то, трое обывателей, выписав наиболее шумную газету, приняли озабоченный вид политиков, ходили по базару спешно, встречаясь, жестоко спорили, часа по два, собирая вокруг себя почти-

тельно внимательную толпу слушателей.

Коля вмешивался в спор:

– Дальше невозможно жить так, как жили до сей поры!

– Отчего же? – серьезно и удивленно спрашивали некоторые обыватели.

– От глупости! – объяснял Коля, ловя пенсне, соскакивавшее с переносицы.

– Позволь, – от чьей же это глупости?

– От всероссийской! От вашей! – кричал юноша, вспоминая фразы Ряхина. Иные обижались.

– Однако ты, парень, осторожнее! Что за слова такие?

Мелкие люди города слушали Колю с вожделием, расспрашивали его подробно, но их вопросы носили узко практический характер, юноша не умел ответить и, боясь сконфузиться, убежал от таких бесед.

В общем город начинал жить, точно собираясь куда-то, и мужья на предложения жен купить то или другое ввиду зимы отвечали неопределенно:

– погоди! Еще неизвестно, что будет. Властные люди города стали часто собираться вместе, тайно беседуя о чем-то, и наконец обывателям стало известно, что отец Исаия скажет за поздней обедней проповедь, которая объяснит все тревоги и рассеет их, что Штрехель устроит в «Лиссабоне» какой-то особенный спектакль, а исправник потребует из губернии трех полицейских, если же можно, то и солдат.

– Солда-ат! – воскликнул, мигая, всегда пьяный портной

Минаков и вдруг сообразил: – Понимаю. Ага-а!

Он долго мучил публику. Не говоря, что именно понято им, и наконец сообщил:

– Решено, стало быть, оборотить нас в заштатный город!

Большинство усомнилось в этом, но многие говорили:

– Что ж, только слава, что город мы, а всего и мощена-то у нас одна улица да вот базарная площадь.

Вечером Минаков, сидя в грязи против церкви Николая Чудотворца, горько, со слезами жаловался:

– Угодничек божий, милостивый! Прекратили нас – кончено!

А городской Капендюхин, стоя над ним, утешал портного:

– А ну, Егор, не реви, як баба! Ще, може, ничего не буде!

Слухи о том, что начальство хочет успокоить горожан, подтвердились: исправник вызвал Колю и, должно быть, чем-то сконфузил его – бойкий телеграфист перестал бегать по улицам.

К Минакову явился Канендюхин и сурово объявил ему:

– А ну, Егор, идем у полицию.

– Зачем?

– А чтоб тебе слухов не пускать.

Арестовали какого-то странника, исчезли Вавило Бурмистров и печник Ключарев.

Любители драмы и комедии стали готовиться к спектаклю – но в их суете и беготне было что-то показное, подчеркнутое, – горожане ясно видели это.



За обедней в воскресенье собор был набит битком: окурочки, обливаясь потом, внимательно слушали красивую проповедь отца Исаии: он говорил об Авессаломе и Петре Великом, о мудрости царя Соломона, о двенадцатом годе и Севастополе, об уничтожении крепостного права, о зависти иностранных держав к могуществу и богатству России, а также и о том, что легковерие – пагубно.

Расходясь по домам, обыватели соображали:

– Видать, что и взаправду будут перемены, – по пустякам в церкви не позволят говорить!

Жуткая тревога усиливалась, внимание к словам друг друга росло. Собирались кучками и догадывались:

– Иностранец этот – он всегда соображает, как Россию уязвить, – отчего бы?

Кто-то внушительно разъяснил:

– Главное – тесно ему: разродился в несметном количестве, а жить – нигде! Ежели взять земную карту, то сразу видно: отодвинули мы его везде к морским берегам, трется он по берегам этим, и ничего ему нету, кроме песку да соленой воды! Народ – голый...

– В таком разе, конечно, и русскому позавидуешь...

Раздавался голос Тиунова:

– Решено призвать к делам исконных русских людей – объявлено было про это давно уж!

Обыватели спрашивали друг друга:

– Это – кто говорит?

– Кривой из слободы.

Солидные люди, отмахиваясь, шли прочь:

– Есть кого слушать!

– Подмечайте, православные, хороших людей, которые поразумнее, почестнее...

Бондарь Кулугуров, огромный бородатый старик, спросил:

– Где они у нас?

Его поддержали:

– Н-да, эдаких чего-то не знатно.

– Кто к пирогу?

– Пора.

– Пустое затеяно! – говорил бондарь, вытягиваясь во весь рост. – Ты пойми, слобожанин, что нам с того, коли где-то, за тысячу верст, некакие люди – ну, скажем, пускай умные – сядут про наши дела говорить? Чего издали увидят? Нет, ты мне тут вот, на месте дай права! Дома мне их дай, чтоб я вору, голове Сухобаеву, по всем законам сопротивляться мог, чтоб он меня окладом не душил, – вот чего мне позволю! А что на краю земли-то – нас не касаемо!

Глаза у бондаря были узкие, они казались маленькими щелками куда-то в беспокойную, глубокую тьму, где всегда кипело неукротимое волнение и часто вспыхивал зеленый гневный огонь. И руки у него были тоже беспокойные – странно мотались, точно стремясь оторваться от большого тела, шумно хлопали ладонями одна о другую, сцеплялись

кривыми пальцами и терлись, и редко движения их совпадали со словами старика.

– Эх, почтенный! – начал было Тиунов, сверкая глазом.

– Вот то и эх! – отразил бондарь и, круто повернувшись, пошел прочь, а за ним отошли и другие.

– Православные! – обратился кривой к оставшемуся десятку человек. – Я говорю в том наклонении, что мы, мещанство...

Но кривой плохо выбрал время: каждого человека в этот час ждал дома пирог, – его пекут однажды в неделю, и горячий – он вкуснее. А еще Тиунов забыл, что перед ним люди, издавна привыкшие жить и думать одиноко – издревле отученные верить друг другу. На улицу, к миру, выходили не для того, чтобы поделиться с ним своими мыслями, а чтобы урвать чужое, схватить его и, принеся домой, истереть, измельчить в голове, между привычными тяжелыми мыслями о буднях, которые медленно тянутся из года в год; каждый обывательский дом был темницей, где пойманное новое долго томилось в тесном и темном плену, а потом, обессиленное, тихо умирало, ничего не рождая. Так семя цветка, занесенное ветром в болото, сгнивает там бесследно, не имея сил разрастись, расцвести и улыбнуться небу яркой улыбкой.

Осталась с кривым старуха Маврухина – красные глаза ее, залитые мутной влагой, смотрели в лицо ему, чего-то ожидая, и Тиунову неловко было уйти от них.

– Что, бабуня? – тихо спросил он.

– Сынок мой едет, чу! – сообщила мать.

– Куда он?

– К царю небесному...

– Ишь ты! – печально усмехаясь, сказал Тиунов.

– Нашли, слышь, дорогу-то туда!

Старуха тряслась и неверными движениями рук кутала дряхлое, разбитое горем и временем тело в грязные лохмотья.

– Прощай, бабуня! – сказал кривой, отходя.

Она, улыбаясь, осталась одна на площади, перед большим светлым храмом. Тыкая в землю палочкой, Тиунов, не спеша, шел в слободу, жевал губами, чмокал и, протянув перед собой левую руку, шевелил пальцами, что-то, видимо, высчитывая.

Понедельник был тихий, ясный; за ночь мороз подсушил грязь улиц, – городок стоял под зеленоватым куполом неба празднично чистенький – точно жених.

Гулко и мерно бухали бондари, набивая обручи, за рекой пыхла пароотводная трубка сухобаевского завода, где-то торопливо и озабоченно лаяла собака, как бы отвечая заданный урок.

Но уже с утра по улицам города поплелся, как увечный нищий, слух о порче телеграфа.

Как всегда, в девять часов к почтовой конторе подкатилась монастырская бричка с дородной и ласковой матерью Левкадией и смешливой краснощекой послушницей Павлой

на козлах; у закрытых дверей конторы стоял седоусый Капендюхин, с трубкой в зубах и грозно сдвинутыми бровями. Покряхтывая, мать Левкадия вылезла из брички и остановилась у крыльца, удивленная необычным выражением давно и хорошо знакомого ей добродушного лица.

– Здравствуй, Нифонт! Бог милости прислал!

– Благодарствуйте, – ответил городской таким тоном, как будто говорил: «Ну, нет, меня не обманешь!»

И, надув щеки, взглянул в небо.

– Ну-ка, открой дверь-то! – попросила монахиня.

Капендюхий посмотрел на нее сверху вниз и спросил:

– А зачем?

– Как это – зачем? – обиженно сказала монахиня. – Ведь я же за почтой приехала и две депеши у меня...

– Почты никакой не буде!

Старушка взволновалась.

– О господи, спаси и помилуй, – что ты? И вчера не было... Неужто грех какой-нибудь в дороге?

Капендюхин внушительно поднял руку и остановил ее:

– Вы, мать Лекадия, слухов не пускайте! Вам уже сказано – почты вовсе не будет, и – все тут!

– А депеши? – робея и немножко сердясь, спросила старуха, девятый год, без помехи, исполнявшая на почте монастырские дела.

– Телеграфа нет.

– Нет?

Капендюхин наслаждался знанием тайны, и от полноты удовольствия его усатое лицо смешно надулось. Он долго мучил любопытство монахини, возбуждая в ней тревогу, и наконец как-то вдруг вдохновенно объяснил:

– Спортился главный телеграф у Петербурге. Комета, знаете, ходит там, так вот та комета задела башню, откуда все проволоки, – да вы же знаете телеграф, что мне говорить, вы же разумная женщина!

Мать Левкадия растерянно и недоверчиво посмотрела на него снизу вверх и – рассердилась уже до слез.

– Я, батюшка мой, не женщина, а монахиня, да-а... а смеяться надо мною – грех тебе!

Сконфузив городского, она уехала, а через несколько минут о событии уже знали на базаре, праздное любопытство было возбуждено, и торговцы, один за другим, пошли смотреть на почту. Они останавливались посреди улицы, задрав головы рассматривали уставленные цветами окна квартиры почтмейстера и до того надоели Капендюхию расспросами о событии, что он рассердился, изругался, вынул записную книжку и, несколько раз облизав карандаш, написал в ней:

«Его благородью ваше благор пришел народ лезет меня осаживает и пускает слухи. Не могу справиться тишину порядок нарушают Капендюхин».

Потом он неожиданно схватил за шиворот сына бондаря Селезнева, озорника Гришку, и, делая вид, будто дерет его за уши, шепнул мальчику:

– Беги у полицию, на, отдай помощнику записку – пятак дам, живо!

Сметливый Гришка вырвался и исчез, как пуля, сопровождаемый хохотом и гагайканьем обывателей.

Но скоро они принуждены были задуматься: из-за угла улицы появился полицейский надзиратель Хипа Вопияльский, а его сопровождало двое солдат с ружьями на плечах и два стражника верхами.

Весь город знал скромного и робкого Архипа с детства, все помнили его псаломщиком у Николая Чудотворца, называли его Хипой и в свое время много смеялись шутке преосвященного Агафангела, изменившего фамилию его отца, милейшего дьячка Василия Никитича Коренева, в смешное прозвище Вопияльского, потому что Коренев в каком-то прощении, поданном владыке, несколько раз употребил слово «вопию».

И вот этот застенчивый, неспособный человек шагает с обнаженной пашкой в руке и кричит издали устрашающим голосом:

– Ра-азойдись, эй!

Даже сам Капендюхин был, видимо, поражен странным зрелищем, подтянулся и, пряча трубку в карман, заворчал:

– Эге! То-то же!

Ошарашенные обыватели полезли вон из улицы, стражники, покачиваясь на старых костлявых лошадях, молча сопровождали их, кое-кто бросился бежать, люди посolidнее

рассуждали:

– Это против кого же они?

– Н-да, пугают!..

– Что такое, братцы мои, а?

Ничего не понимая – шутили, надеясь скрыть за шутками невольную тревогу, боясь показаться друг другу глупыми или испуганными. Но некоторые уже соображали вслух:

– Позвольте – это как же? Вот я, примерно, письмо послал, требованьице на товаришко, куда же оно денется?

– А мне бы, не сегодня – завтра, денжат надобно получить из губернии...

Уже давно с болот встали густые тучи и окутали город сырым пологом. Казалось, что дома присели к земле и глазами окон смотрят на хозяев своих не то удивленно, не то с насмешкой, тусклой и обидной. Кое-где раздавались глухие удары бондарей:

– Тум-тум-тум! тум-тум!

Короткий день осени старчески сморщился, улицы наполнились скучной мглой, и в ней незаметно, как плесень, росли темные, вязкие слухи, пугливые думы.

– У казначейства, слышь, тоже солдаты поставлены...

– Ну?

– Памфил-сапожник сказал...

– А давеча, утречком рано, слободского Вавилу Бурмистрова, бойца, из полиции к исправнику на дом провели, слышь...



– Может быть, в Петербурге этом опять что-нибудь такое вышло, как тогда, зимой?..

– Вроде бунта?

– Да ведь нас это тогда никак не коснулось.

Кто-то задумчиво соображал:

– В слободе кривой есть...

– А то тут горбатенький в земстве служит, тоже, слышь, боек...

– Немого – тоже хорошо спросить?

– Не я тому виноват, что умные люди уроды больше!

Громко, неискренно хохотали и снова пробовали шутить, но шутки складывались плохо, в сердце незаметно просачивалось что-то новое и требовало ответа. И когда смотрели в поле, то всем казалось, что холмы выросли, приподнялись и теснее, чем раньше, окружают городишко.

С поля налетал холодный ветер, принося мелкую пыль отдаленного дождя. В окнах домов уже вспыхивали желтые огни. По времени надо бы к вечерне звонить, а колокола не слышно, город облегла жуткая тишина, только ветер вздыхал и свистел, летая над крышами домов, молча прижавшихся к сырой и грязной земле.

Часть обывателей собралась в нижней черной зале «Лисабона», другие ушли в трактиры базара – до поздней ночи сидели там, чего-то ожидая. И напряженно сплетали недомыслия дня с обрывками давних слухов, которые память почему-то удержала.

– Главное – японец этот!

– Намедни Кожемякин говорил, будто немец тоже...

– Кожемякин, старый черт, он больше насчет бабья знающ...

– Ну, нет, он все истории насквозь знает. Петр, говорит, Великий навез, говорит, этого немца.

– Екатерина тоже навезла.

– Сколько много, братцы мои, этих навозных людей у нас?!

Неуклюжая, непривычная к работе мысль беспомощно тыкалась всюду, как новорожденный котенок, еще слепой.

– Н-да-а! А ведь действительно, много иностранцев противу нас поставлено!

– Против тебя – палку в землю воткни – и довольно! Сто лет не шелохнешься.

– Ты храбер!

– Брось, ребята! Кому ее надо, храбрость вашу?

Почти никто не напился пьян, домой пошли тесными компаниями, говорили на улице, понижая голоса, и нередко останавливались, прислушиваясь к чему-то. Шумел ветер голыми сучьями деревьев, моросил дождь, лаяли и выли озябшие, голодные собаки.

Не велика была связь города с жизнью родной страны, и когда была она – не замечали ее. Но вот вдруг всем стало ясно, что порвалась эта связь, нет ее. Раньше о том, что на земле есть еще жизнь, другие города, иные люди, напомина-

ло многое: ежедневно в девять часов утра в город, звеня колокольцем, влетала почтовая тройка из губернии, с полудня вплоть до вечера по улицам ходил, прихрамывая, разносчик писем Калугин, по вечерам в трактирах являлась губернская газета, в «Лиссабоне» – даже две. И вдруг – всё остановилось: остался среди лесов и болот маленький городок, и все люди в нем почувствовали себя забытыми.

Создавалось настроение нервное, подозрительное и тоскливое. Людьями овладевала лень, работать не хотелось, привычный ежедневный труд как бы терял смысл.

– Живем где-то за всеми пределами! – ворчал Кулугуров, расхаживая по базару с толстой палкой в руках.

– Что же начальство наше?

– Н-да, сокрылось чего-го...

– Думает!

– Это – пора!

В глазах деловых людей их маленькие дела с каждым часом вырастали во что-то огромное, затенявшее всю жизнь, и вот этому – смыслу жизни – откуда-то грозила непонятная и явная опасность.

Прошел слух, что исправник вызывал трактирщиков и предупредил их, что, может быть, придется закрыть трактиры.

– Еще чего выдумают! – сердито закричал старый бондарь. – На улице, что ли, торчать нам? Не лето, чай!

– Дома сиди! – предложили ему.

– Разве в эдакое смутное время можно по домам расползаться? Надобно сообща жить, грудой!

И, сердясь все более, он кричал, широко разевая большой рот и тряся седой бородой:

– Натек-ка! Кто-то где-то там распорядился, и – ни слуха ни духа ниоткуда! Вроде как мы теперь сполна отданы в плен начальству – делай с нами что хочешь, и пожаловаться некуда! Нет, эти штуки надо разобрать!

Речи его еще более раздували тревогу окуривцев.

Ходил по улицам Тиунов и, помахивая палочкой, ко всему прислушивался, нацеливаясь темным оком то в одно, то в другое лицо, рассматривая всех, точно цыган лошадей на конской ярмарке.

Его спрашивали:

– Что случилось – не слышал?

– Не знаю. Заминка какая-то в делах, а что – не понять! – отвечал он отходя и поджимая губы.

Его сухой одноглазый лик тоже казался опрокинутым, одежда на нем странно измялась, заершились, точно человек этот только что с трудом пролез сквозь какое-то узкое место.

Мелькало больное лицо Кожемякина, его печальные глаза и желтая, дрожащая рука, теребившая белую бороду.

Вся жизнь городка остановилась пред невидимой и неосязаемой преградой, люди топтались на одном месте день, два, ходили к отцу Исаие за какими-то советами, но

священник оказался болен, вспомнили о председателе земской управы – он уехал в губернию.

Разбились по группам, сообразно интересам своим, смотрели друг на друга подозрительно, враждебно и не столько слушали, сколько подслушивали друг друга.

На третий день по городу с утра заговорили, что на базаре, в трактире Семянникова, будет дано объяснение всему, и обыватели быстрыми ручьями, шумя и волнуясь, стеклись на базар.

В трактире, у стены, на столе стоял горбатый статистик Шишмарев и, размахивая руками, кричал:

– Россия поняла, наконец...

Его большая голова вертелась во все стороны, голос срывался, глаза налились испугом, на щеках блестели капли пота или слез. Трактир был полон, трещали стулья и столы, с улицы теснился в дверь народ, то и дело звенели жалобно разбитые стекла, и Семянников плачевно кричал тонким голосом:

– Кто мне за имущество заплатит?

Несколько голосов настойчиво зывали к Шишмареву:

– Эй, послушайте, надолго это установлено – без почты чтобы?

– Вы дело, вы о делах говорите, почтенный!

– Он про Россию дябит всё, горбатая кикимора!

– Чего он в делах понимает?

Площадь базара стала подобна котлу, – люди кружились

на ней, точно крупинки гречи в закипающей воде. Небо накрыло город серой тяжелой шапкой, заволокло дали и сеяло мелкую сырость пепельно-светлого цвета.

– Идея свободы, солидарности и прогресса... – выкрикивал Шишмарев.

С улицы жители напирали в дверь, лезли в открытые окна с выбитыми ставнями и тревожно требовали:

– Громчее!

– Горбатый, не слышать!

– Давай его на улицу!

– И вот наконец, – надрывался статистик, – все классы общества...

Было уже много людей, опьяненных возбуждением, оно разгоралось, как лесной пожар, замелькали в толпе отуманенные глаза, полупьяные, злые улыбки. В толпе, словно налим, извивался портной Минаков, негромко внушая:

– Это, братцы мои, речи опасные! – и, хитро улыбаясь, подмигивал глазом.

А впереди него, расталкивая всех, метался Вавило Бурмистров; засучив рукава рубахи, весело и радостно сверкая глазами, он орал на всю улицу:

– К разделке! Вот она! Пришел день, эхма!

Солидные люди пока всё еще оставались спокойными зрителями сумятицы; останавливая Вавилу, они спрашивали:

– Ты чего кричишь?

– Чего? – грозно повторял боец и вдруг, просияв радо-

стью, обнимал вопрошавшего крепкими руками. – Милый, али нехорошо, а? На дыбы встают люди – верно? Пришел день! Слышал – свобода? Хочу – живу, хочу – нет, а?

Обыватели, насильно улыбаясь, спрашивали:

– В чем – свобода?

– Братья! – захлебываясь и барабаня кулаками в грудь, пел Бурмистров. – Душа получает свободу! Играй душа, и – кончено!

– Пьяный! – говорили друг другу солидные люди, отходя от него, и хмурились.

Женщины, разглядывая красавца, поджимали губы и, лицемерно опуская глаза, шептали:

– Бесстыдник какой!

А Минаков, с темными пятнами на лице, всё нырял за Вавилой и неустанно вполголоса внушал:

– Эти самые речи – ой-ой-ой!

Из двери трактира, как дым из трубы, густо лез на улицу потный, разогретый обыватель, подталкивая горбуна, – горбун был похож на мяч, плохо сшитый из тряпья и разорванный.

– Тащи стол!

Солидные люди, не желая смешиваться с толпой, отходили к заборам и прижимались к ним – они смотрели сиротами города.

– Какой, однако, скандал развели!

– Ни тебе полиции, ни кого...

– Вчера хоть стражники ездили!

Базунов, церковный староста от Николы, самый крупный торговец города, говорил вкрадчивым и плачущим голосом:

– Позвольте, – как же это, братцы? Вдруг является неизвестного звания всем чужой человек и – рассуждает, а? А у нас дела торговые и другие разные, и мы – в стороне, а? Кем, однако, держится город, а?

– Что же это? – спрашивал Кулугуров, никого не слушая. – Жили-жили и – нанося, обретены, одни, и при этом начат такой беспорядок, как же это, я?

– Слободские пришли – и он там их с полсотни, поди-ка...

Над толпой у двери качалась голова Шишмарева, его большой рот открывался и отчаянно кричал:

– Мы должны дружно и смело...

Речь его заглушали вопросы.

– Кто остановку-то приказал?

Но тело горбуна вздрогнуло, он высоко взмахнул руками и исчез, а на его месте явился Бурмистров с взлохмаченными кудрями, голой грудью – красивый и страшный.

– Народ! – взревел он, простирая руки. – Слушай, вот – я! Дай мне – совести моей – ходу!

Стало как будто тише, спокойнее, и, точно крик ночной зловещей птицы, дважды прозвучал чей-то тонкий голос:

– Эки дела! Эки дела!

– Говорит нам – мне и Минакову – помощник исправника Немцев: иди, говорит, ребята, слушай, кто что скажет, и



докладай мне! Ежели, говорит, что опасное...

– Ишь ты! – насмешливо крикнул кто-то.

– Православный народ! – кричал Бурмистров. – Что есть опаснее нашей жизни! И вот пришел день! Пусть каждый схлестнется со своей судьбой – один на один – без помехи, верно? Разрушена теснота наша, простирайся, народ, как хочешь! Вставай супротив судьбы...

– Ну, братцы мои, это действительно, что опасные речи! – тревожно говорил Базунов в толпе у забора. – Как начнет их братия, слободские, схлестываться...

Раздались яростные крики:

– Гони его!

– Сдерни со стола-то!

– Зачем гнать? Будет! Надоели нам они, гонения эти!

Солидные люди стали расходиться по домам, осторожно и подавленно перекидываясь тихими восклицаниями.

– Однако!

– Эдак, ежели каждый начнет...

– Что такое, братцы, а?

А Кулугуров громко кричал:

– Отброшены мы и позабыты...

Стороной, держась вдали от людей, тихо шли Тиунов и Кожемякин, оба с палочками в руках.

– Ну что всех дел мастер? – невесело улыбаясь, спрашивал канатчик.

– Что ж, Матвей Савельич! Вот – сами видите!

Стукая палочкой по своему сапогу, кривой вполголоса, медленно и фигурно говорил:

– Правильно изволили вы намедни сказать, что народ – не помнящий родства...

– Давили, видишь ты, давили, да как бы уж и вовсе выдавили душу-то живую, одни ошметки остались...

– А главное – понять невозможно, что значит забастовка эта и чьего она ума?..

– Пойдем чайку попить ко мне...

Но торопясь, они идут по улице, прочь от взволнованных людей, оба степенные, задумчивые.

Люди отходили от толпы, но она не таяла, становилась всё шумнее, оставшиеся на базаре терлись друг о друга, и это нагревало их все более. Явились женщины, их высокие голоса, вливаясь в общий шум, приподнимали его и обостряли отношения: шум пенился, точно крепкая брага, становился все пьянее, кружил головы. Общая тревога не угасала, недоумение не разрешалось – среди этих людей не было сил создать одну мысль и одно чувство; угловатые, сухие и разные, они не сливались в живую разумную силу, освещенную единством желаний.

И не о чем было говорить, кроме близких и хорошо знакомых, будничных дел.

Женщины вынесли на улицу домашнее: косые взгляды, ехидные улыбки, и многое давнее, полузабытое, снова начало тлеть и куриться, ежеминутно вспыхивая то там, то тут

злыми огоньками.

– Нет, матушка моя, не-ет! Ты мне за это ответишь!

Говорили о трех кочнах пластовой капусты, украденных с погреба, о том, что Ванька Хряпов не хочет жениться на Лизе Матушкиной и что казначей исхлестал дочь плетью.

Незаметно избили Минакова, он шел по улице, упираясь в заборы руками, плевался кровью, всхлипывал и ныл:

– Господи-и! За что-о?

Свистя и взвизгивая, носился по городу ветер, раздувал шум и, охлаждая сбитых в толпу возбужденных людей, вытеснял их с улицы в дома и трактиры.

Гулко шумели деревья, зловеще выли и лаяли обеспокоенные собаки.

Во тьме, осторожно ощупывая палочкой землю, молча шагал Тиунов, а рядом с ним, скользя и спотыкаясь, шел Бурмистров, размахивая руками, и орал:

– Много ль ты понимаешь, кривой!

Боясь, что Вавило ударит его, Тиунов покорно ответил:

– Мало я понимаю.

А боец взял его за плечи, с упреком говоря:

– И никого тебе не жаль – верно?

Кривой промолчал, взглядываясь в огни слободы, тонувшие где-то внизу, во тьме.

– Верно! – тверже сказал Вавило. – Я – лучше тебя! Мне сегодня всех жалко, всякий житель стал теперь для меня –

свой человек! Вот ты говоришь – мещаны, а мне их – жаль! И даже немцев жаль! Что ж немец? И немец не каждый день смеется. Эх, кривой, одноглазая ты душа! Ты что про людей думаешь, а? Ну, скажи!

Не хотелось Тиуну говорить с человеком полупьяным, а молчать – боялся он. И, крикнув, осторожно начал:

– Что ж люди? Конечно, всем плохо живется...

– Ага-а! – слезливо воскликнул Вавило.

– Ну, однако, в этом и сами они не без вины же...

– Во-от! – всхлипывая, крикнул Бурмистров. – Сколько виновато народу против меня, а? Все говорили – Бурмистров, это кто такое? А сегодня – видели? Я – всех выше, и говорю, и все молчат, слушают, ага-а! Поняли? Я требую: дать мне сюда на стол стул! Поставьте, говорю, стул мне, желаю говорить сидя! Дали! Я сижу и всем говорю, что хочу, а они где? Они меня – ниже! На земле они, пойми ты, а я – над ними! И оттого стало мне жалко всех...

Шли по мосту. Черная вода лизала сваи, плескалась и звенела в тишине. Гулко стучали неверные шаги по расшатанной, измызганной настилке моста.

– Стало мне всех жалко! – кричал Вавило, пошатываясь. – И я говорю честно, всем говорю одно – дайте человеку воли, пусть сам он видит, чего нельзя! Пусть попробует все ходы сам, – эх! Спел бы я теперь песню – вот как! Артюшки нет...

Он остановился в темноте и заорал:

– Артюха-а!

Тиунов быстро шагнул вперед и, согнувшись, трусцой побежал к слободе.

– Артюха-а! – слышал он позади хрипящий зов, задышался и прыгал всё быстрее, подобрал полы, зажимая палочку под мышкой.

– Кривой! Захарыч!

Тиунов по звуку понял, что Вавило далеко, на минутку остановился, отдышался и сошел с моста на песок слободы, – песок хватал его за ступни, тянул куда-то вниз, а тяжелая, густая тьма ночи давила глаза.

Бурмистров, накричавшись до надсады в горле, иззяб, несколько отрезвел и обиженно проворчал:

– Ушел, кривой дьявол. Хорошо!

Он быстро начал шагать посередине моста, доски хлюпали под ногами, – и вдруг остановился, думая:

«А если он в воду упал?»

Подошел к перилам, заглянул в черную блестящую полосу под ногами, покачал головой.

– У-у!

И, махнув рукою, запел:

Мырамы-орное твое личико

И – ах, да поцелуем я ль ожгу...

– Ушел, кривой! Пренебрегаешь? – ворчал он, прерывая песню.

Эх, и без тебя я, моя милая,  
Вовсе жить на свете – нет, не могу!

В памяти Бурмистрова мигали жадные глаза горожан, все они смотрели па него снизу вверх, и было в них что-то подобное огонькам восковых свеч в церкви пред образом. Играло в груди человека долгожданное чувство, – опьяняя, усиливало тоскливую жажду суеты, шума, движения людей...

Он шлепал ногами по холодному песку и хотя почти совсем отрезвел, но кричал, махал руками и, нарочно распуская мускулы, качался под ветром из стороны в сторону, как гибкий прут.

Кое-где в окнах слободы еще горел огонь. «Фелицатин раишко» возвышался над хижинами слобожан темной кучей, точно стог сена над кочковатым полем. И во тьму не проникало из окон дома ни одной полоски света.

«Пойду к ней, к милой Глаше, другу! – решил Бурмистров, вдруг согретый изнутри. – Расскажу ей все... Кто, кроме нее, меня любит? Кривая собака – убежала...»

Он безнадежно махнул рукой и, глядя на воеводинский дом, соображал:

«Никого нет. Попрытались все».

Когда Вавило подошел к воротам, встречу ему, как всегда, поднялся Четыхер, но сегодня он встал против калитки и загородил ее.

– Пропускай, ну! – грубо сказал Навило.

– Занята Глашка, – ответил Четыхер.

– Врешь?

Дворник промолчал.

– Ведь никого нет?

– Стало быть – есть.

Препятствие возбуждало Бурмистрова. Он всем телом вспомнил мягкую теплую постель и вздрогнул от холода.

– Жуков, что ли? – угрюмо спросил он.

И вдруг ему показалось, что Четыхер смеется; он приоткрылся – плечи квадратного человека дрожали и голова тоже тряслась.

– Ты чего? – заревел он и, забыв, что дворник сильнее его, взмахнул туго сжатым кулаком. Но запястье его руки очутилось в крепких пальцах Четыхера.

– Ну-ка, не бесись, не ори, дурак! – спокойно и как будто даже весело сказал Кузьма Петрович. – Ты погоди-ка. Я пущу тебя, пес с тобой! Ну – только уговор: там у нее Девушкин...

– Кто? – спросил Вавило, выдернув руку и отшатнувшись.

– Ну – кто! Говорю – Девушкин Семен.

– Симка? – повторил Бурмистров и до горла налился холодным изумлением.

– Ежели ты его тронешь, – вразумительно говорил Четыхер, – гляди – плохо тебе будет от меня! Для прилику, для страха – ударь его раз, ну – два, только – слабо! Слышь? А Глашку – хорошенько, ее вздуй как надо, она сама дерется!

По холодной-то морде ее, зверюгу! А Семку – тихо! Ну, ступай!

Он отворил калитку, но Бурмистров стоял перед нею, точно связанный, наклоня голову и спрятав руки за спину.

– Ну-ка, иди! – сказал Четыхер, подталкивая его.

Он высоко поднял ногу, как разбитая лошадь, ступил во двор и, добравшись в темноте до крыльца, сел на мокрую лестницу и задумался.

«Милый ты мой, одинокий ты мой!» – вспомнились ему певучие причитания Лодки.

Нехорошее, обессиливающее волнение, наполняя грудь, кружило голову, руки дрожали, и было тошно.

«Врет Четыхер! – заставил он себя подумать. – Врет!»

Он мысленно поставил рядом с Лодкой неуклюжего парня, уродливого и смешного, потом себя – красавца и силача, которого все боятся. «Чай, не колдун Симка?» – вяло подумал Бурмистров, стиснув зубы, вспомнив пустые глаза Сими.

Вавило тряхнул головой, встал и пошел наверх, сильно топая ногами по ступеням, дергая перила, чтобы они скрипели, кашляя и вообще стараясь возможно больше и грознее шуметь. Остановясь у двери, он пнул в нее ногой, громко говоря:

– Отворяй!

Раздался спокойный голос Лодки:

– Кто это?



– Отвори!

Во рту Бурмистрова было сухо, и язык его двигался с трудом.

– Ты, Вавило?

Он налег плечом на филенку двери, без труда выдавил ее. Когда тонкие дощечки посыпались к ногам Лодки, она быстро сняла крюк с пробоя и отскочила в сторону, крича:

– Ты что это, а? Ты – что?

Бурмистров на секунду остановился в двери, потом шагнул к женщине и широко открытыми глазами уставился в лицо ей – бледное, нахмуренное, злое. Босая, в рубашке и нижней юбке, она стояла прямо, держа правую руку за спиной, а левую у горла.

– Глафира! – хрипло и медленно заговорил Вавило, качая головой. – Что ж ты, дьявол, а?

Его рука, вздрагивая, сама собою поднималась для удара, глаза не могли оторваться от упорного кошачьего взгляда неподвижно и туго, точно струна, вытянувшейся женщины. Он не кончил слов своих и не успел ударить – под кроватью сильно зашумело, потом высунулась растрепанная голова Симы. Юноша торопливо крикнул:

– Погоди, Вавило...

Лодка злобно взвизгнула и бросилась вон. Бурмистрову показалось, что она ударила его чем-то тяжелым и мягким сразу по всему телу, в глазах у него заиграли зеленые и красные круги, он бессмысленно взглянул в темную дыру двери

и, опустив руки вдоль тела, стал рассматривать Симу: юноша тяжело вытаскивал из-под кровати свое полуголое длинное тело, он был похож на большую ящерицу.

– Ты – прости! – торопливо, вздрагивающим голосом бормотал он. – Ведь она – из жалости ко мне, ей-богу! А я – кто меня, кроме нее? Ты, Вавило, хороший человек...

Вавило тарашил глаза, точно ослепленный, и, все ниже наклоняясь к Симе, протягивал руку к нему, а когда юноша сел на полу, он схватил его за тонкую шею, приподнял, поставил перед собой и заглянул в глаза. Сима захрипел, царапая ногтями крепкую руку, душившую его, откидывал голову назад и странно, точно дразнясь, двигал языком; глаза его выкатывались из орбит. Вавило ударил левой рукой «под душу» Симе и сжал его шею всеми десятью пальцами; пальцы сжимались всё крепче, под ними хрустели хрящи, руки Симы повисли вдоль тела и шарили по бокам, точно отыскивая карманы. Он становился все тяжелее. Бурмистров несколько раз встряхнул юношу, отрывая его от пола, и, разжав пальцы, отбросил его от себя. Сима мягко упал под ноги ему, хлопнув ладонью о половицу и стукнув о пол тяжелой головой. Бурмистров покачнулся и, схватясь одеревеневшими пальцами за спинку кровати, свалился на постель.

Когда вошел Четыхер, а за ним в двери явились длинные белые фигуры Фелицаты, кухарки и девиц – он сидел неподвижно, закусив губу, и тупо рассматривал голову Девушкина на полу у своих ног.

– Ты что сделал, пес? – спросил Четыхер.

Бурмистров взглянул на него, вскочил и прыгнул вперед, точно цепная собака, но дворник оттолкнул его ударом в грудь. Вавило попятился и, запнувшись за ноги трупa, сел на пол.

Женщины выли, визжали; Четыхер что-то кричал, вытягивая к Бурмистрову длинную руку, потом вдруг все, кроме дворника, исчезли.

На столе, вздрагивая, догорала свеча, по серой скатерти осторожно двигались тени, всё теснее окружая медный подсвечник. Было тихо и холодно.

Вавило поднялся с пола, сел на кровать, потирая грудь, и негромко спросил:

– Неужто – до смерти?

– Я тебе, пес дикой, говорил: ее – бей, а его не тронь! – укоризненно сказал Четыхер.

– Я не бил! – проворчал Вавило.

Не спуская с него глаз, дворник нагнулся, пощупал тело Симы и сказал, выпрямляясь:

– Не дышит будто? Водой бы его, что ли? – и, разводя руками, продолжал удивленно: – Ну и дурак ты, собака! Какого парня, а? Середь вас, шалыганов, один он был богу угодный! Связать тебя!

Упираясь руками в кровать, Бурмистров сидел и молчал. Дворник подвинулся к нему, взял со стола свечу, осветил лицо, увидал на лбу его крупные капли пота, остановившиеся

глаза и нижнюю челюсть, дрожавшую мелкою дрожью.

– Что, дурак, боишься? – спросил он, ставя свечу на стол. – Еще с ума сойдешь – хорошо будет!

Он прислушался – в доме стояла плотная, непоколебимая тишина, с улицы не доносилось ни звука. Потом он долго и молча стоял среди комнаты, сунув руки в карманы и глядя исподлобья на Бурмистрова, – тот сидел неподвижно, согнув спину и опустя голову.

На лестнице раздались тихие шаги – кто-то шел во тьме и сопел.

– Это кто?

– Я, – тихо ответил голос Паши.

– Ну?

– Нету полицейских!

– В город надобно бежать.

Через несколько минут Паша тихонько сказала:

– Куда мне деваться, дядя Кузьма? Мне боязно!

– Сядь на лестницу и сиди! Я – тут!

– С кем ты говоришь? – вдруг тихонько спросил Бурмистров.

– А тебе какое дело?

– Ты бы со мной поговорил...

– Больно нужно! – проворчал Четыхер, но тотчас же строго спросил: – Пошто человека убил?

– А я знаю? – как сквозь сон ответил Вавило. – Нечаянно это! Так уж – попал он под колесо, ну и... Что мне – он?

Бурмистров завозился на постели, тяжело вздыхая, и тихо предложил:

– Ты бы вынес его за дверь?

– Как же! Ишь ты! – сурово воскликнул Четыхер. – Разве это можно трогать до полиции?

– Шла бы эта полиция, что ли, уж...

– Что – мучит совесть-то?

– Нет! – не сразу ответил Бурмистров. – А так, как-то...

Ведь верно, он был не вредный человек...

Огонь свечи затрещал, задрожал и погас.

– Ну, вот тебе еще, черт те... – проворчал Четыхер.

Вавило сел на постели, подобрал под себя ноги, скрестил руки на груди, а пальцами вцепился в плечи свои. Он стучал зубами и побряхтывал.

– Затворить бы дверь...

– Чего? – спросил Четыхер и, не получив ответа, угрюмо молвил: – Ты, гляди, не вздумай бежать али что... Ты сиди смирно!

– Бессмысленный человек, – куда я побегу? Хошь – сам пойду в полицию?

– Ладно! Сиди знай...

– Ты думаешь – рад я, что всё это случилось? – бормотал Вавило, видимо, боясь молчания. – Зачем Глашка сделала это?

– Озорники вы тут все!

– Погубил я свою жизнь!

Четыхер спокойно отозвался:

– А ты думаешь что? Конечно, погубил!

Снова оба замолчали. Тьма линияла за дверью, в коридоре ее уже сменил сероватый сумрак.

Нехотя, но громко заскрипели ступени – кто-то медленно поднимался по лестнице.

– Это кто? – спросил Четыхер.

– Охотник! – тихо ответила Паша за дверью.

В двери над головой Четыхера вспыхнуло пламя спички, осветив кривое лицо Артюшки Пистолета, – дворник тяжело приподнялся на ноги и сказал с удовольствием:

– Во-он как, ружье принес...

– Я в лес шел, – объяснил Артюшка, – а Матрена Пушкарева кричит – иди к нам! Где Вавило?

– Я тут! – отозвался Бурмистров скучным голосом.

– Что, брат?

Вавило заворочался, раздраженно говоря:

– Кузьма, к чему тут темнота? Огня надобно!

В поредевшей тьме было видно, как он взмахивает руками, стоя на коленях посредине кровати.

– Вот, Артюша, достигла меня судьба, через бабу достигла, как и следовало...

– Замолот! – презрительно воскликнул Четыхер. – Пашуха, подь-ка и впрямь, тащи огня! – И деловито объяснил Артюшке: – Одним-то нам и при огне боязно было...

А Бурмистров продолжал, обиженно и поспешно:

– Я ведь знал, что просто с ней не кончить, – так оно и вышло! А уж Семен, ей-богу, не знаю как попал, он совсем посторонний! Это правильно сказал Кузьма – надо было Глашку убить!

– Ничего я не сказал! – грубо прикрикнул Четыхер, подвигаясь к нему.

– А у ворот?

– Кто слышал? Где свидетели?

– Я слышал! Не-ет, ты погоди...

– Эка, поверят тебе!

Они оба начали злиться и взвизгивать – но тут неслышно явилась Паша, сунула в дверь руку с зажженной лампой, – Четыхер принял лампу, поднял ее над головой и осветил поочередно Бурмистрова на постели, с прижатыми к груди руками и встрепанной головой, изломанное тело Симы на полу, а около печи Артюшку. Он стоял, положив ладони на дуло ружья, и лицо его улыбалось кривой бессменной улыбкой.

– Видно, не споем мы с тобой никогда больше? – вопросительно молвил Бурмистров, глядя на товарища жадными глазами.

Артюшка сплюнул сквозь зубы и сказал:

– Кабы смениться можно, я бы за тебя пошел в Сибирь, право, чего же? Там охота действительно что серьезная, а здесь только дробь-порох зря тратишь! Людей там тоже, слышь, немного, а это чего уж лучше!

– Верно! – позевывая, сказал Четыхер.

– Други вы мои, эх! – тихо воскликнул Бурмистров. – Жалко мне себя все-таки! Судить будут... и все эти церемонии! Уж гнали бы прямо!

Снова, не торопясь, потекла утешительная речь Пистолета:

– Ты же церемонии любишь. Плохо тут жить – вот о чем думай. Верно ведь Сима-то сочинил: «жить нам – неохота». Ну, конечно, всякий старается выдумать себе что-нибудь – на этом и шабашит!

– Чисто он стихи сочинял, – вспоминал Четыхер, глядя на труп, и незаметно перекрестил себе грудь.

– Сочинишь, в таком месте болтаясь! – странно двигая изувеченной щекой, сказал Артюшка и вздохнул. – Мне вот двадцать семь лет, а тоже иной раз такое в голову лезет – беда! Даже боязно! Я оттого, правду сказать, и живу в сторонке от людей, один, что опасаюсь часто, – как бы чего не сделать...

– Да-а! – согласился Четыхер. – Сидишь-сидишь у ворот ночью-то, да вдруг и подумаешь – ах вы, чтоб вас громом побил!

Он держал лампу в руках и вертел шпенек, то уменьшая, то увеличивая огонь; это вызывало странные приливы и отливы серых теней на стенах, на потолке, на полу.

– Что вы – словно панихиду поете? – уныло пробормотал Бурмистров.

Артюшка, глядя на Четыхера, виновато, точно Сима, улы-



бался и всё говорил:

– А то иной раз сам себе стариком покажешься вдруг, словно сто лет прожил и всё знаешь, что и завтра будет и через год, право!

– В городе, слышь, чего-то шумят? – задумчиво молвил Четыхер.

– Н-да, шумят, был я там вчера и третьего дни: кричат все, а что такое? И Вавило кричал – свобода, дескать, надобна, и чтобы каждый сам за себя. Это – есть! Этого – сколько хочешь! Только мне никуда такая свобода. Я драться не хочу – за что мне драться? Мой интерес, чтобы тихо было, это я люблю...

Он кивнул головою на труп.

– Это, что ли, свобода? Нет. Чего делать будем со свободой? – вот где гвоздь! Павлуха Стрельцов – он рад, – заведу, говорит, себе разные пачпорта и буду один месяц по дворянскому пачпорту жить, другой по купеческому.

– Он тоже вроде Семена, покойника, – сказал Четыхер.

Пистолет подумал и согласился:

– Похож, пожалуй!

Замолчали.

Снова по лестнице кто-то осторожно поднимался. Пистолет поднял голову и нюхнул воздух.

– Кузьма! – тихо позвала Розка.

– Эй?

– Нейдет полиция.

– Ну?

– Не идут.

– Как же быть?

– Я не знаю.

– Не идут – не надо! – сказал Бурмистров строго и обиженно. – Я и сам до нее дойду.

– Полиция обязана прийти, коли убийство сделано! – нахмурившись, заявил Четыхер. – Я порядки знаю – в пожарной команде служил...

– Что это вы с огнем? – удивленно спросила Розка, заглядывая в дверь. – Ведь светло уж!

Четыхер недоверчиво посмотрел на нее, погасил лампу, желтый свет сменился кисейно-серым утром.

– И верно, что светло, – сказал Четыхер, помялся и, тяжело отдуваясь, предложил: – Надобно идти, Вавило, нечего тут!

– Идем! – не двигаясь, согласился Бурмистров.

– Ты дай-ко я тебе руки свяжу! – предложил дворник, распоясываясь.

Вавило встал с постели, не глядя, перешагнул через труп, подошел к дворнику и, повернувшись спиной к нему, заложил руки назад. Но Четыхер снова запахнул полушубок, крепко подтянув живот кушаком, лицо у него перекосилось, он почмокал губами.

– Ну, и не надо! И так не убежишь.

– Не убежит, – тихо подтвердил Пистолет.

– Не убегу! – сказал Бурмистров. – Только бы ее не встре-

тить!

– Где там? – ворчал дворник. – Она, чай, куда-нибудь в погреб забилась, дрожит. Ну, айда!

Сходя с лестницы, он сопел, сморкался и говорил, вздыхая:

– И Семена жалко – покой его бог! – и тебя, дурака, жалко! Эх ты, курица вошь!

Сверху лестницы раздался громкий и тревожный шепот:

– Дяденька Кузьма!

Наклонясь над перилами, Паша показывала руками, как завязывают узлы.

– Ну, ладно, курица! – отмахнулся от нее Четыхер.

А на улице сказал своему арестанту, усмехаясь:

– Пашка-то, курицына дочь, требует, чтобы я тебя связал!

– Что я ей сделал худого? – глухо спросил Вавило. – Пальцем никогда не тронул.

– Это она не против тебя, она за меня боится! – объяснил Четыхер самодовольно и, обратясь к Артюшке, добавил: – Та же дитё! Без разума живет. Ей бы в монастыре жить надобно, а она – вон где!

Пистолет шел рядом с Вавилой, но не смотрел на него. Ружье держал под мышкой вниз дулом, руки в карманах потертой короткой куртки из толстого синего драпа. На голове его кожаный картуз, большой козырек закрывал глаза, бросая на лицо черную тень.

Долго шли молча, только под ногами похрустывал, ломаюсь, топкий утренний ледок. Было холодно. Стекла маленьких окон смотрели на улицу мутно и сонно – слобода еще спала.

– Ну, – сказал Пистолет, остановись, – дальше я не пойду с вами. Мне – в лес. Я ведь зашел так только... посмотреть – может – неверно? Оказалось – вполне верно! Значит – прощай, что ли, Вавило?

Бурмистров, вопросительно глядя на него, протянул руку – Артюшка взял ее, дернул вправо, влево и, круто повернувшись, пошел прочь, не оглядываясь.

Бурмистров исподлобья проводил его долгим взглядом, потом, оглянувшись, шагнул с тротуара на середину улицы.

– Куда? – крикнул на него Четыхер, как пастух на барана.

– Видишь куда! – сердито ответил Вавило.

– Совсем как арестант желаешь? – миролюбиво сказал Четыхер, помолчав. – Осудился, стало быть, перед собой-то?

Бурмистров, пошатываясь, шагал вдоль улицы. Иногда нога его, проламывая слои льда, тонула в грязи, но он шел прямо, не обходя луж, затянутых тусклою серою пленкою.

Когда они вошли на мост, с горы на них взглянул ряд пестрых домов, – окна их были прикрыты ставнями, и казалось, что лучшая улица города испуганно зажмурила глаза.

Потом их обогнала собака; не спеша, поджав хвост, она пошла впереди, встряхивая шерстью и качаясь на кривых ногах.

– Уть ты! – сказал ей Вавило, негромко и беззлобно.

Она посмотрела на него одним глазом, точно Тиунов, остановилась и, подумав секунду, воровской тихой походкой пошла куда-то в сторону, еще туже поджав хвост.

Вперебой пели кочета, встречая осеннее утро.

Выскочив из комнаты, Лодка молча нырнула вниз, быстро выбежала на двор, но по двору пошла осторожно, боясь ушибить или уколоть во тьме босые ноги. Сырая ночь холодно коснулась груди и плеч; протянув руку вперед, Лодка подвигалась к воротам и уже хотела позвать Четыхера, как вдруг ее остановила ясно вспыхнувшая мысль:

«Нехорошо как, что Симка, а не другой кто! Смеяться будут надо мной из-за него... ах, уж и будут!»

Хлопнула калитка, по земле зашаркали тяжелые шаги.

– Это вы, Кузьма Петрович?

– Ага-а, сбежала! – насмешливо отозвался Четыхер, подвигаясь к ней.

– Идите скорее – он там убьет Симу-то! Зачем вы его пустили?

Четыхер вдруг схватил ее за рубаху и потащил куда-то, глухо выкрикивая:

– А чтобы он тебя отхлестал хорошенько, вот зачем! Как ты Пашку...

Но прежде чем он успел ударить ее, Лодка вырвалась из его рук, отскочила в сторону, взвизгнув:

– Фелицата Назаровна!

– Ладно! – тихо сказал Четыхер, исчезая. – Я тебя достигну!

В доме хлопали дверями, был слышен тревожный голос хозяйки, и точно кто-то плясал, мелко стуча ногами по полу.

Женщина, вздрагивая от холода, придерживая руками изорванную рубаху и спадавшую юбку, тихонько двигалась к крыльцу; в груди у нее разгоралась обида, сменяя испуг.

Жуткое желание знать, что случилось наверху, остановило ее у лестницы, а сверху уже прыгала Розка, вскрикивая:

– Господи!

И ее догонял плачущий голос хозяйки:

– Скорее, голубушка, доктора! А ты, Паша, за полицией – скорей!

Лодка бесшумно скользнула в угол коридора, подождав, когда подруги выбежали на двор, прошла в комнату Фелицаты, сбросила там изорванное белье и на минуту неподвижно замерла, точно готовясь прыгнуть куда-то.

«Надо уйти!»

Увидала в зеркале свое отражение и, вздрогнув, начала поспешно одеваться в платье хозяйки, небрежно разбросанное по комнате.

Через несколько минут она шла по улице слободы, решив спрятаться у Серафимы Пушкаревой, шла – и в голове у нее вспыхивали одна за другой обидные и протестующие мысли

о том, что – вот, нужно прятаться, что Четырехер может разрывать на ней одежду и грозить побоями ей, что над ней будет смеяться из-за связи с Девушкиным.

Мельком, между мыслями о себе, она подумала и о том, что Вавило, при его силе, мог серьезно ушибить Симу. Это заставило ее пойти медленнее, она плотнее закуталась теплою шалью и еще яснее почувствовала, что впереди ее ждет множество неприятностей, огорчений и некуда от них скрыться.

Не заметив, она миновала проулок, где жили Пушкаревы, остановилась у чьих-то ворот, послушала, как робко и жалобно стелется по воздуху сторожевой колокольный звон в городе, у Николы.

Темными буграми стояли дома слободы; между ними по улице бежал сырой поток ветра со стороны болот; где-то шуршали ветки деревьев о стену или крышу, и негромко, должно быть, во сне, тявкала собака.

«Пойду лучше к этому, к свинье», – вдруг решила Лодка.

Она быстро направилась к мосту, ей уже казалось что это самое умное – пойти ночевать к Жукову: к нему не посмеет прийти Вавило, и полиция – в случае чего – постеснится беспокоить ночью важного человека.

Но, подвигаясь вперед, против ветра, она вспомнила инспектора, его жалкое, беспомощное тело, склонность всегда чего-то пугаться, грубость, за которой – она знала – скрывается отсутствие характера, вспомнила противные привыч-

ки Жукова и брезгливо поежилась, но в ней росло и крепло какое-то, еще неясное решение, заставляя ее добродушно и лукаво улыбаться.

Подойдя к крыльцу дома, она сильной рукой дернула за ручку звонка, и когда из-за двери сиплый старушечий голос тревожно спросил – кто это? кого надо? – Лодка ответила громко и властно:

– Евсея Лиодоровича надо видеть!

Старуха начала расспрашивать, кто и зачем так поздно пришел. Лодка отвечала ей сурово и сердито топала ногами.

– Уж извините! – отворив дверь и кланяясь, сказала старуха. – Ночью-то депеши только носят. А теперь – вон что идет, осторожность нужна!

– Ну, молчи, карга! – ответила гостья.

Жуков встретил Лодку в прихожей, со свечой в руке; на плечах у него висело ватное пальто, в зубах торчала, дымясь, толстая папироса. Он радостно таращил глаза и говорил, растягивая слова:

– Это – комплимент! Как ты надумала? И разодета – ну-у-у!

– Соскучилась! – бойко сказала женщина.

– Ну, иди сюда! Петровна, самовар, живо!

Взяв Лодку за руку, он вел ее, сгребая ногами половики и путаясь в них, а она облизывала губы, осматривалась и дышала как-то особенно ровно, глубоко.

– Садись! А я – лампу зажгу. Хорошо, что ты пришла,



черт! Понимаешь – больше недели сижу, как сыч в дупле, скучища зеленая, хоть вой! А, черт, палец ожег!

Он никогда не говорил так много, и Лодка смотрела на него с удивлением. Всегда грубый, подозрительный, недочерчиво ухмылявшийся, сегодня он был не похож на себя, мягок, говорил тихо и со странным вниманием поглядывал на окна.

– Что на улицах – тихо?

– Ночь ведь.

– Это ничего, ночь! Теперь... такие дни... короткие, что шум не убирается в них и остается на ночь. Вчера, около полуночи, вдруг – в окна стучат! Да! Сначала в одно, потом в другое. Я лежу и думаю – а вдруг влезут, черт их возьми!

Лампа у него гасла, когда он вставлял стекло в горелку, но это не раздражало его; всё тише он рассказывал:

– Выйдешь на улицу – везде какие-то нахальные рожи! Все кричат, смотрят октябрем, – да ведь теперь и есть октябрь!

Он зажег лампу, вытер запачканные руки о полы пальто и пошел куда-то в угол, с трудом двигая тяжелые ноги, в ночном белье и больших войлочных туфлях.

– Эти маленькие городишки – точно мышеловки, ей-богу! – тихо говорил он. – Попадет в такой город человек, и – капут ему! И – капут!

В комнате пахло водкой, табаком и прокислыми огурцами. Все вещи казались сдвинутыми с места, и даже белая

изразцовая печь с лежанкой тоже любопытно высунулась на середину комнаты и осматривала ее блестящим желтым глазом отдушника.

– Ты смотришь, где кровать? – говорил Жуков, стоя в углу перед шкафом и звеня стеклом стаканов. – Кровать рядом. Я сплю здесь, на диване. Кровать у меня хорошая, двухспальная...

– Вы что там делаете? – спросила Лодка, подходя к нему. – Нужно на стол собрать? Дайте сюда – что это?

– Это? Погоди – кажется, ром, а может быть, коньяк. Сейчас попробую. Старуха бьет бутылки, переливает из двух в одну...

Вытащив пробку, он поднес бутылку ко рту – женщина отняла вино.

– После попробуете! Сначала соберем всё как следует, благородно, на стол, потом сядем, будто муж и жена. Будто я приехала, – жена приехала.

Приставив ко лбу ладонь, он смотрел на нее из-под козырька и неопределенно говорил:

– Как ты, однако, – что это ты?

– Ничего! – ласково сказала Лодка. – Просто, – у вас гостя, молодая женщина, а вы – прицеливаетесь, как бы сразу напиться...

Жуков засмеялся неожиданно громко.

– Женщина! – кричал он сквозь смех. – Да, черт, ты – женщина!

Собирая на стол чайную посуду и бутылки, она ошупывала глазами углы, мимоходом постучала пальцами по чернильнице из какого-то белого металла, стоявшей на конторке, незаметно взвесила на руке чайные ложки и одобрительно покачала головой.

Жуков сидел на диване, следил за ней, жмуря глаза, поглаживая усы и чмокая толстыми губами.

– Нехорошо у вас! – строго заметила Лодка.

– Нехорошо, – не то соглашаясь, не то спрашивая, повторил податной инспектор.

– Хлам везде, пыль, не прибрано – ай-ай!

– Это все старуха!

– А еще образованный вы! – корила его Лодка. – Разве образованный человек должен в таком беспорядке жить?

Жуков сморщил лоб и попросил:

– Бро-ось! Я, право, рад, что ты пришла! Все-таки – не один. Собираюсь кота завести – нет нигде хорошего кота!

Она села рядом с ним и, когда он обнял ее, сказала, хмуро разглядывая его лицо:

– Что это как вы стареете?

– Скучно, Глата!

– Мешки-то какие сделались под глазами!

– Перестань ты! Это ничего, мешки. Я тут пил немножко, вот они и сделались. Да! Я вот всё думаю: как дешев человек в России! И как не нужен никому, ей-богу!

Сокрушенно качая головой, Лодка перебила его речь:

– Ах, Евсей Лиодорович! Не могу я забыть, как вы тогда упали и как испугались! Ведь вы это помереть испугались?

Жуков дернулся всем телом, заглушенно крикнув:

– Ты что? Чего тебе?

– Мне? Ничего! – удивилась она, ласково глядя его отекавшее лицо мягкой теплой ладонью.

– Зачем ты ноешь? – проворчал он. – Пришла – и сиди... сиди, этого, как это? Как следует, одним словом. А то – ступай, откуда пришла!

– Господи! Чай, ведь мне жалко вас! – не обижаясь, воскликнула женщина. – Вижу я, что здоровье у вас всё хуже да хуже...

Он отрицательно замотал головой.

– Врешь!

– Отчего – вру?

– Не знаю. Никого, ничего не жалко тебе, – врешь!

Он говорил твердо, и Лодка, смутясь, прикрыла глаза.

Но инспектор, посмотрев на нее, смягчился.

– Мне, брат, и без тебя скучно... то есть если, конечно, ты – веселая, так не скучно, а так...

И вдруг замолчал, помигал глазами и стал смеяться хлипким смехом:

– Разучился говорить, черт возьми!

Старуха внесла самовар и, посмотрев на гостью круглыми черными, как у мыши, глазами, исчезла, сердито фыркая, толкая коленями мебель по дороге.

– Ну, давай чай пить! – хрипел Жуков. – Н-да-а! Играл, на виолончели, – разучился. Жена, бывало, очень любила слушать, – жена у меня хорошая была!

– Значит – не верите вы мне? – спросила женщина, усаживаясь за стол.

Он налил в стаканы вино, молча усмехнулся дряблой усмешкой и сказал:

– Пей!

– Что же неверного в том, что я вас жалеть могу? – настаивала Лодка. – Вот, вижу, человек одинокий, больной, и смерть от вас не за горами – ведь так?

Податной инспектор шумно поставил пустой стакан на стол, схватился рукой за спинку стула, глаза его страшно выкатились, лицо посинело.

– Т-ты! – крикнул он придушенным злостью голосом и брызгая слюной. – Ты – зачем?

Она не испугалась. Пила вино маленькими глотками, облизывала губы и, покачиваясь, смотрела в лицо Жукова ласково и нагло.

– Ш-ш! Вы не бойтесь, не сердитесь, лучше послушайте, пока трезвый...

– Не хочу! Не смей!

– Да что это, какой...

Он еще несколько раз грубо крикнул на нее, но Лодка ясно видела беспомощность этой груды испорченного мяса и, чувствуя, как оно наливается страхом перед нею, станови-

лась все более спокойной, деловитой и ласковой.

– Я давно про вас думаю, Евсей Лиодорович, – слащаво и немножко в нос говорила она. – О болезнях ваших, одиноком вашем житье и как вы скоро стареете...

– Перестань, говорю.

Он хотел сказать строго, но сказал устало, сморщился, тяжело вздохнул и выпил еще стакан.

– Родных у вас нету...

– Врешь, есть!

– А кто?

– Племянник есть.

– Где? – подозрительно спросила Лодка.

– В Казани. Студент. Что?

Жуков торжествующе захохотал, разваливаясь на стуле, и снова налил себе вина.

Но Лодка, пытливно глядя в глаза ему, сказала:

– Никогда вы ничего не говорили про студента.

– А все-таки есть! Да!

Он ударил ладонью по колену, победоносно сопя и фыркающая.

Лодка хмуро помолчала и, вдруг осветясь изнутри какой-то новой веселою мыслью, начала тихонько смеяться, прищутив глаза, сверкая мелкими зубами.

– Ага! – почему-то воскликнул Жуков. – Что?

– Ну, есть студент, хорошо! – заговорила она игриво и свободно. – Только – какая же польза в студенте? Студент – не

женщина! Какой от него уход, какая забота? Мешать еще будет вам, молодой-то человек, стыдно вам будет перед ним...

Она кокетливо покачнулась к Жукову, а он опустил глаза, подобрался, съежился.

– Да и опасно ему жить здесь.

– Почему это? – пробормотал Жуков. Лодка откинулась на спинку кресла и, положив руки на стол, вдохновенно объяснила:

– А вот вы говорите, что сердится народ, – вот поэтому! Да, да, – что вы так смотрите на меня? В окошки-то стучат к вам, ага! Ведь на кого сердятся? На вас, образованных людей! Я знаю!

– Ты – врешь! – тихо сказал Жуков, глядя на нее круглыми глазами. И, что-то вспомнив, он серьезно добавил, подняв палец: – Как ты смеешь говорить это? Ты – кто? Черт знает кто!

– Я? – воскликнула Лодка. – Нет, уж извините! Я – в бога верую, я – не похабница, я над пресвятой богородицей не смеялась!

И медленно, отыскивая наиболее веские, грубые слова, она начала бросать ими в лицо Жукова.

– Конечно, вы ученый человек, конечно! А кто смеется над архангелом Гавриилом? Вы смеетесь, ученыю, – доктор, Коля и вы! Не правда? И первые похабники тоже вы! Ведь если теперь выйти на базар и сказать людям, какие вы стихи читаете, – что будет?

Жуков, тяжело ворочая шеей, смотрел на нос, оглядывался вокруг и молчал. Перед ним всё задвигалось и поплыло: являлся шкаф, набитый бумагами, чайной посудой и бутылками, письменный стол, закиданный пакетами, конторка, диван с пледом и подушкой и – два огромные глаза – темные окна с мертвыми стеклами.

В белых изразцах печи сверкал отдушник и тоже как будто кружился, бросая желтые лучи.

Женщина, вспоминая множество обид, нанесенных ей этим человеком и другими, всё говорила, чувствуя в груди неиссякаемый прилив силы и бесстрашия. Развалившееся по стулу жидкое тело с каждой минутой словно всё более расплывалось, теряя очертания человеческой фигуры. Глаза Лодки стали светлыми, и голос звенел всё яснее.

– Есть тут благочестивая одна старушка, Зиновея. Если, потеряв на время стыд, рассказать без утайки, что вы в Благовещенье с Пашей делали...

– Брось! – попросил Жуков, с усилием протягивая ей стакан. – На, пей! Или ты уж пьяная?

– Ах – нет, извините, я не пьяная! – сказала Лодка, оттолкнув его руку и вставая из-за стола.

– Что тебе нужно? – в десятый раз спросил Жуков, тоскуя и чувствуя, что вино не пьянит его.

– Ничего мне не нужно. А так, захотелось посчитаться. Зиновею – все знают, ей все поверят...

Подумав, она почти искренно прибавила:



– Право – жаль вас! Такой уж вы несчастный! И умрете скоро к тому же.

– Лодочка! – сложив руки, завыл Жуков. – Ну, не надо, не говори больше, ну, я же...

– Упадете навзничь, и – кончено!

Он протянул к ней руку, хотел что-то сказать, но губы его вздрогнули, глаза закрылись и из-под ресниц потекли слезы.

Несколько секунд она молча смотрела на него, потом подошла, взяла руки его, положила их на бедра себе и, крепко схватив его за уши, запрокинула голову податного так, что красный кадык его высунулся сквозь жир острым углом.

– Года ваши небольшие еще, – раздельно говорила она, – сорок пять, чай? А уж какой вы некрасивый! А я – и в слезах хороша!

– Ну, зачем, зачем ты это? – хрипя и задыхаясь, говорил он, вертя головой, чтобы освободить уши из ее рук.

Она села на колени к нему, Жуков глубоко вздохнул, прижался щекой к ее груди и стал упрекать ее:

– Ф-фу, как нехорошо! Какая ты озорная! Ну – зачем? Пришла – спасибо! Я тебе – враг? И про всё это, как мы шалили, – зачем говорить?

А сам дрожащими пальцами расстегивал ее платье и, касаясь горячего тела, чувствовал, как живая, возбуждающая сила наполняет его грудь, уничтожая страх.

– Милая Глаша! Будем жить друзьями, право, а? Немножко друзьями? Ладно? Племянник – чепуха!

– Я знаю! – сказала она, выскальзывая из его рук. – Ну, баньки пора. Уж скоро, чай, светать будет. Вставай!

Он поднялся, заискивающе ухмыляясь, и, кивая головой на дверь в соседнюю комнату, заворчал, как старая обласканная собака.

– Огонь возьми.

В спальне, раздеваясь, она спросила его:

– Старушка эта обкрадывает тебя, а?

– Хе-хе! – ответил Жуков, вытирая мокрым полотенцем свои заплаканные глаза.

Лодка, голая, любовно гладила свое чистое тело ладонями и, качая красивою головою, брезгливо фыркала:

– Ух, какой беспорядок везде, ну уж – образованный! Пыль, грязь, ай-ай!

Инспектор смотрел на нее и жирно хихикал, потирая руки.

Он скоро заснул, Лодка повернулась, чтобы погасить огонь, – со стены на нее смотрел большой портрет женщины: продолговатое сухое лицо с очками на носу и бородавкой у левой ноздри.

«Какая уродская!» – подумала Лодка, прикручивая фитиль.

Портрет медленно утопал во тьме.

«Жена или мать? Наверное – жена...»

И, высунув язык портрету, погасила огонь.

Сумрак облил стены, потолок, вещи, мертвенно застыл.

Под его серую пеленую красное лицо Жукова потемнело, точно у мертвого, и еще более опухло. Нос инспектора вздрагивал, тонко посвистывая, жесткие волосы рыжих усов запали в рот и шевелились, колеблемые храпящим дыханием, небритые щеки ощетинились, нижняя губа отвалилась, обнажив крупные, лошадиные зубы. Вся голова Жукова напоминала уродливый огромный репей, глубоко вцепившийся в подушку толстыми колючими усиками.

«Пресвятая богородица, прости-помилуй!» – мысленно сказала Лодка, охваченная тоскою и отвращением.

Потом, кутаясь в одеяло, подумала утомленно:

«А тот, звереныш, наверно, в арестантской ночует...»

И задремала, соображая:

«Старуху надо прогнать. Возьму Клавдейку Стрельцову.

Она – хроменькая, нищенка...»

...Ей приснилось, что она стремглав бежит куда-то под гору, гора всё круче и всё быстрее невольный бег Лодки, она не может остановиться и громко кричит, чувствуя, что вот сейчас упадет, расшибется насмерть.

Обливаясь холодным потом, открыла глаза – Жуков грубо и сильно тряс ее за плечо.

– Ну, и дрыхнешь ты! Совсем мертвая.

– Отстань! Много ли я спала... – сердито сказала она, не видя его лица.

Инспектор, кашляя и харкая, упрямо говорил:

– Вставай, вставай! Скоро одиннадцать, люди могут прий-

ти, знакомый зайдет, а тут – здравствуйте! – этакая гостья...

Она приподняла голову, посмотрела на него, медленно облизывая губы, – лицо Жукова показалось ей страшным: желтое, синее, глаза, налитые кровью, казались ранами. Полуодетый, он стоял у кровати, оскалив зубы, и тыкал в рот себе зубной щеткой.

– Задним крыльцом пройди, а не через парадное, – слышишь?

Лодка, закутавшись одеялом, поднялась и сказала:

– Уйди...

Ей хотелось сказать какое-то другое слово, но горло сжала судорога обиды.

Инспектор, не торопясь, ушел в соседнюю комнату, где было светло, чисто прибрано и шумел самовар.

«Старушка очень довольна будет! – бессвязно думала женщина, одеваясь. – Выгнал...»

Ей казалось, что ее тело ноет и жалуется, точно его набили во сне чем-то тяжелым и мягким, не оставляющим иных следов, кроме тягостной боли в груди.

«Выгнал! – мысленно повторяла она. – Так!»

Руки у нее дрожали – взяла с умывальника стакан, а он выскользнул из пальцев и упал па пол, разбившись вдребезги.

– Н-ну? – крикнул Жуков, появляясь в двери. – Проснись!

«Точно кучер на лошадь! – подумала Лодка и стала собираться поспешнее. – Ладно! – мысленно угрожала она хо-

зяину и недоверчиво оглядывалась. – Гонишь, гнилой пес? Старушке будет приятно. Пусть! А стекло в окнах – я тебя лишу. Да!»

Она закутала голову шалью так, что остались незакрытыми только злые глаза, вышла в соседнюю комнату и там сказала, не глядя на Жукова:

– Ну, прощайте, Евсей Лиодорович...

Ухмыляясь, он протянул ей руку с зеленой бумажкой; она осторожно вытянула деньги из толстых пальцев.

– Благодарю вас.

– Довольно?

– Хватит.

– Иди налево, через кухню, – до свиданья!

У двери в кухню она глубоко вздохнула, еще плотнее закутала лицо, отворила дверь и бросилась через кухню, как сквозь огонь, выбежала на двор, на улицу и быстро пошла по тротуару, сжав зубы, сдерживая биение сердца.

Перед нею неотступно плыло красное лицо с оскаленными зубами, тряслись дряблые щеки, утыканные рыжим волосом.

«Сначала, – прищутив глаза, подумала она, – пойду я к Зиновее. Уж она прозвонит всё, что скажешь, всему городу! Подожди, голубчик, не-ет, ты подожди!»

Мысленно беседуя с Жуковым, она шла твердо и уверенно.

Ненадежная, выжидающая тишина таилась в городе, толь-

ко где-то на окраине работал бондарь: мерно чередовались в холодном воздухе три и два удара:

– Тум-тум-тум... Тут-тум...

Бурмистров валялся на нарах арестантской, тупо глядя в стену, исчерченную непонятными узорами, замазанную грязью. Не первый раз был он тут, не однажды его били в этой конуре, и, наверное, в грязи ее стен есть его кровь.

Он жил в полусонном состоянии расслабленности и отупения: мысли его пересекали одна другую и вдруг проваливались куда-то в темную глубину души, где притаилась жадная тоска и откуда по всем жилам острою отравую растекалась злая горечь.

О Симе он почти не думал, но иногда в памяти его всплывали прозрачные глаза юноши, он смотрел в глубину их с жутким любопытством и смущенно убеждал покойника:

«Чудак – туда же! Ну – где тебе? Я ли не человек против тебя?»

И порою ему казалось, что всё это дурной сон, – что мог юродивый парнишка занимать его, Вавилино, законное место на груди Лодки.

Но, вспоминая неутомимое тело Глафиры, певучий носовой звук ее речей и заглатывающий взгляд синих пьяных глаз, он сжимал кулаки, скрипел зубами и готов был реветь от обиды. Точно пила резала ему грудь, он обливался потом от возбуждения, бродил по арестантской, шатаясь, как сле-

пой, и скороговоркою, сквозь зубы говорил:

– Не я ли тебя любил, а? Кто, кроме тебя, дорог был мне, окаянная душа?

Ему казалось, что так оно и было: он любил Глафиру честно и крепко, и вся жизнь его, все дни были полны этой любовью. Ради нее он торчал в городе, ничего не желая, не ища лучшей доли; для нее он укреплял за собою всячески, чем можно, славу первого смельчака и бойца слободы.

Ему нравилось видеть себя в такой позе, и он ожесточенно повторял:

– Всю жизнь ради тебя!

И снова еще сильнее раздувал сам себя, точно мяч, чтобы, ударившись о настоящее, подпрыгнуть над ним.

Уставал от этих усилий и вдруг, беспомощно оглянув комнату, чувствовал себя загнанною лошадию в грязном стойле.

«Все меня забыли, никто не приходит, – думал он, стоя перед железной решеткой окна. – Схлестнулся со своей судьбой...»

Из окна виден был двор полицейского правления, убранный истоптанною желтою травою, среди двора стояли, подняв оглобли к небу, пожарные телеги с бочками и баграми. В открытых дверях конюшен покачивали головами лошади. Одна из них, серая и костлявая, все время вздергивала губу вверх, точно усмехалась усталой усмешкой. Над глазами у нее были глубокие ямы, на левой передней ноге – черный бинт, было в ней что-то вдовье и лицемерное.

Над дверью сеновала, для отвода болезней от лошадей, был прибит гвоздями скелет птицы, на коньке крыши торчал чисто вымытый дождями рогатый череп козла, выше него неустанно качались голые вершины деревьев.

Люди по двору ходили озабоченно и угрюмо, говорили негромко, но видно было, что все торопятся куда-то.

Вавило открывал форточку – в камеру вливались крепкие запахи навоза, дегтя, кожи и отовсюду из города доносился странный гул, точно кто-то разорил все вороны гнезда в садах.

«Шумят!» – счастливо думал Бурмистров и тяжело вздыхал, вспоминая себя среди толпы людей. Каждый раз, когда он вспоминал это событие, оно выступало перед ним все более значительно, красиво и манило его снова к людям, в шум и суету.

Он плевал в стену голодной горячей слюной и, снова вспоминая Лодку, мысленно грозился:

«Ладно, собака!»

Вспоминал Тиунова, хмурился, думая:

«Чай, с утра до вечера нижет слово за словом, кривой черт! Опутывает людей-то...»

Но мысль о Симе, о суде, о Сибири сваливала его на нары, и он снова погружался в оцепенение.

В полдень третьих суток заключения в камеру вошел Капендюхин, не затворив дверь, сел на нары и, толкнув Вавилу в бок, осведомился:



– Лежишь?

– Скоро, что ли, допрашивать меня будут? – сердито спросил Бурмистров.

– Не знаю того, братику! – сказал Капендюхин, вздохнув.

Его усы растрепались, обвисли, брови были высоко подняты, на лицо городского неподвижно лежало выражение печали и обиды.

– Теперь уж не до тебя! – медленно говорил он, уставив в стену большие оловянные глаза. – Ты знаешь, чего вышло?

И, не ожидая ответа, сообщил, качнув головой:

– Свобода всем вышла!

– Кому? – равнодушно спросил Бурмистров.

– А всем жителям.

Городовой вынул из-за обшлага шинели кисет, из кармана трубку и, посапывая, начал набивать ее табаком.

– Да! Вышла-таки! Сегодня у соборе молебен будет. Всем все прощено!

Вавило посмотрел на него, медленно приподнялся и сел рядом.

– Кто объявил?

– Государь император, кому же больше?

– Всем?

– Я ж говорю...

– И мне?

– А и тебе! Почему же и не тебе? Если всем, то – и тебе.

– Меня – судить надо! – вяло и угрюмо сказал Бурмистр-

ров. – Свобода! Нашли время, когда объявить, черти.

Он вопросительно прислушивался к своим словам и недоумевал: бывало, говоря и думая о свободе, он ощущал в груди что-то особенное, какие-то неясные, но сладкие надежды будило это слово, а теперь оно отдавалось в душе бесцветным, слабым эхом, и, ничего не задевая в ней, исчезало.

Городовой курил, плевал в стену и спокойно говорил:

– Теперь такое начнется – ух! Теперь каждый каждому все обиды напомним!

Вавило встал на ноги и, выпячивая грудь, сказал:

– Что ж, выпускай меня!

– Подожди! – отрицательно мотнув головой, ответил Капендюхин. – Я ж не могу, не приказано мне. Я зашел по дружбе, просто так. Было время – приказывали мне сажать тебя в полицию, то я сажал. Человеку приказывают – он делает. Вот прикажут мне: иди, выпускай Бурмистрова, то я пойду и скажу: а ну, Бурмистров, ступай себе! Разве это не бывало?

– А как же Девушкин-то? – спросил Вавило, недоверчиво глядя на городского.

– Это – твое дело. Мне – что? Я ж ему не брат, не отец. Я за него не могу взыскивать.

– Ну, и выпускай меня! – решительно проговорил Бурмистров, подвигаясь к двери.

Не останавливая его, городской выколачивал пепел из трубки и безнадежным голосом говорил:

– Куда ты торопишься? Вот чудак! Лежал-лежал, вдруг вскочил... А куда?

Если бы Капендюхин попробовал остановить Вавилу, Вавило, наверное, ушел бы из камеры, но, не встретив сопротивления, он вдруг ослабел и, прислонясь к стене, замер в недоумении, от которого кружилась голова и дрожали ноги. Городовой, растирая пальцем пепел у себя на колене, лениво говорил о том, что обыватели озорничают, никого не слушаются, порядок пропал.

– Такое идет, как будто все, и мужчины и бабы, плешивые стали, ей-богу! У всех явилось какое-то одно, как у арестантов. Или выстегал их кто-то прутьями и люди не могут сидеть, бегают-бегают, а всё потому, что начальство уже устало заботиться о людях: а ну вас, свиньи, к бесу, нате вам свободу! Вот, живите, а я – посмотрю из-за уголка, что будет...

Он рассердился, надул щеки и вышел, хлопнув громко дверью.

Бурмистров посмотрел на дверь, подошел к ней, ударил ногой – дверь тяжело отворилась. Он выглянул в темный коридор, сурово крикнув:

– Эй, вы! Заприте!

Никто не ответил. Вавило, оскалив зубы, с минуту стоял на пороге каземата и чувствовал, словно кто-то невидимый, но сильный, обняв его, упрямо толкал вперед. Притворив дверь, он, не торопясь, пошел по коридору, дорога была ему известна. У него вздрагивали уши; с каждым шагом

вперед он ступал всё осторожнее, стараясь не шуметь, и ему хотелось идти всё быстрее; это желание стало непобедимым, когда перед ним широко развернулся пожарный двор.

Несколькими прыжками он добежал до конюшен, влез по лестнице на крышу, прыгнул с нее в чей-то огород, присел на корточки, оглянулся, вскочил и помчался куда-то через гряды, усеянные мерзлыми листьями капусты и картофельной ботвой.

Усталый, запыхавшийся, он ткнулся в угол между каких-то сараев, встал на колени, – за забором, точно телеграфные проволоки в ветреный день, глухо и однообразно гудели потревоженные голоса людей.

Бурмистров оглянулся, взял из кучи щепок обломок какой-то жерди, вытянулся вперед и приложил лицо к щели забора: в тупике за ним стояло десятка полтора горожан – всё знакомые люди.

Стояли они тесной кучкой, говорили негромко, серьезно, и среди них возвышалась огромная седая голова Кулугурова. Все были одеты тепло, некоторые в валенках, хотя снега еще не было. Они топтались на кочках мерзлой грязи и жухлого бурьяна, вполголоса говоря друг другу:

– Ладно, говорю, ты спи! – рассказывал Кулугуров, сверкая глазами. – И только это легла моя старуха, – бух! В стачень камнем, видно, кинули.

– Их две шайки основалось, – докладывал Базунов осторожным и как бы что-то нащупывающим голосом, – Коже-

мякин да кривой со слободы – это одна, а телеграфистишка с горбатым из управы земской...

– Да, да, вот эти!

– Что же делать будем, а?

Бурмистров вздрагивал от холода. Часто повторяемый вопрос – что делать? – был близок ему и держал его в углу, как собаку на цепи. Эти зажиточные люди были не любимы им, он знал, что и они не любят его, но сегодня в его груди чувства плыли подобно облакам, сливаясь в неясную свинцовую массу. Порою в ней вспыхивал какой-то синий болотный огонек и тотчас угасал.

Когда же он услышал, что Тиунова ставят рядом с Кожемякиным, его уколола в сердце зависть, и он горько подумал:

«Присосался, кривой черт!»

И тотчас же сообразил:

«Кабы он, дьявол, не покинул меня тогда, на мосту, – ничего бы и не было со мной!»

Народа в тупике прибавлялось, разговор становился всё более тревожным, всё менее ясным для Бурмистрова.

Кто-то говорил густым и торжественным голосом, точно житие читая:

– Ходит по городу старушка нищая Зиновея и не известная никому женщина с ней, – женщина-то, слышь, явилась из губернии, – и рассказывают они обе, будто разные образованные люди...

– Слободские идут!

– У собора сотен пять народу!

– Слободские – это беда!

– Один Вавило Бурмистров, боец-то их, на десять человек наскандалить может...

Вавило невольно пугливо откинулся от забора, но – ему было приятно слышать мнение горожан о нем. И на секунду в нем явилось острое желание прыгнуть через забор, прямо в середину кучи этих людей, – эх, посыпались бы они кто куда!

Он улыбнулся, закрыл глаза, его мускулы сами собою напрыгались.

За забором горожане гудели, как пчелиный рой:

– В том соображении, что господь бог, святая наша церква и православное духовенство едины есть народу защитники-ходатели, то решили эти ученые, чтобы, значит, церкви позакрывать...

– Кожемякин вчера успокаивал, что ничего-де худого не будет...

– А свобода эта, всем данная, – ничего?

– Начнется от них, свободных, городу разорение!

– Все дела остановились – какие могут быть убытки, а? Да будь-ка я на месте головы, да я бы... ах, господи! гонцов бы везде послал...

– Что же, братцы, делать?

«Боятся, черти!» – соображал Вавило, оскалив зубы.

Тревога обывателей была приятна ему, она словно гре-ла его изнутри, насыщая сердце бодростью. Он внимательно

рассматривал озабоченные лица и ясно видел, что все эти солидные люди – беспомощны, как стадо овец, потерявшее козла-вожатого.

И вдруг в нем вспыхнул знакомый пьяный огонь – взорвало его, метнуло через забор; точно пылающая головня, упал он в толпу, легко поджигая сухие сердца.

– Православный народ! – кричал он, воздевая руки кверху и волчком вертясь среди напуганных людей. – Вот он я, Бурмистров, – бейте! Милые – эх! Понял я – желаю открыться, дайте душу распахнуть!

От него шарахнулись во все стороны, кто-то с испуга больно ударил его по боку палкой, кто-то завыл. Вавило кинулся на колени, вытянул вперед руки и бесстрашно взывал:

– Бей, ребята, бей! Теперь свобода! Вы – меня, а вас – они, эти, которые...

Он не знал – которые именно, и остановился, захлебнувшись словами.

– Стой! – крикнул Кулугуров, взмахивая рукой. – Не тронь его, погоди!

– Я ли, братцы, свободе не любовник был?

Обыватели осторожно смыкались вокруг него, а Бурмистров, сверкая глазами, ощущал близость победы и всё более воодушевлялся.

– Что она мне – свобода? Убил я и свободен? Украл и свободен?

– Верно! – крикнул Кулугуров, топая ногами. – Слушай,

народ!

Кто-то злобно и веско сказал:

– Да-а, слушай, он сам, ну, третьего дня, что ли, и впрямь человека убил!

– Да ведь он о том и говорит! – орал старый бондарь.

– Видали? – подпрыгивая, кричал Базунов. – Вот она – свобода! Разбойник, а и то понял! Во! Во-от она, русская совесть, ага-а!

Вавило немножко испугался и заиграл с жаром, с тоской и отчаянием.

– Верно – убил я! Убежал разве? Нету! Судите – вот я! Кого я убил?

Ему снова захлестнуло язык, сжало горло, он схватился руками за грудь и несколько страшных секунд молчал, не зная, что сказать.

Вокруг глухо бормотали:

– Кается!

– От души, видать!

– Простой народ, он завсегда бога помнит! А эти разные образованные, они вон, слышь, и над богом издеваются...

– Ну все-таки убийство ежели...

– Кого я убил? – крикнул Вавило. – Выученика Тиунова, кривого смутьяна...

Он сам удивился своим словам и снова на секунду замолчал, но тотчас понял выгоду неожиданной обмолвки, обрадовался и вспыхнул еще ярче.



– За что я его? За поганые его стихи, ей-богу, братцы! За богохульство! Я знаю – это кривой его выучил, фальшивый монетчик! Не стерпело сердце обиды богу, ну, ударил я Симку, единожды всего, братцы! Такая рука, – я ничего не скрываю, – такая сила дана мне от господа! И – тоже – где убил? У распутной девки! Там ли хорошему человеку место?

Мещане угрюмо смотрели на него, а Кулугуров убедительно говорил, покрывая крики Вавилы:

– Мы в этом не судьи, нас эти дела разбойные не касаются! А что он против свободы – это мы можем принять!

– Нет, кривой-то, а? – злобно воскликнул кто-то. – Везде!

– Смутьянишка, дьявол!

– Старушку бы эту Зиновею – и женщину с ней – тоже бы заставить, – пусть расскажут про антихристовы затеи эти...

Чей-то тревожный голос крикнул:

– Глядите-тко, сколько их к собору прет! Сомнут они нас, ей же богу! Братцы!

– И мы туда! – загремел Кулугуров. – Али мы не граждане в своем городе? И ежели все нас покинули без защиты, как быть? Биться? Вавил, айда с нами, скажи-ка им там всё это, насчет свободы, ну-ка!

Он засучил рукава пиджака по локоть и сразу несколькими толчками сбил, соединил всех в плотную, тяжелую кучу. Бурмистрова схватили сзади под руки и повели, внушая ему:

– Ты – прямо говори...

– Не бойсь, поддержим!

– Полиции нет...

– Мы тебе защиту дадим...

– Насчет кривого-то хорошенько!..

Вавило точно на крыльях летел впереди всех, умиленный и восторженный; люди крепко обняли своими телами его тело, похлопывали его по плечам, щупали крепость рук, кто-то даже поцеловал его и слезливо шепнул в ухо:

– На проклятие идешь, эхх!

– Пустите! – говорил Вавило, встряхивая плечами.

Малосильное мещанство осыпалось с него, точно лист с дерева, и похваливало:

– Ну, и здоров же!

И снова прилеплялось к возбужденному, потному телу.

Бурмистров понял свою роль и, размахивая голыми руками, орал:

– Я их открою! Всех!

Он никогда еще не чувствовал себя героем так полно и сильно. Оглядывал горящими глазами лица людей, уже влюбленных в него, поклонявшихся ему, и где-то в груди у него радостно сверкала жгучая мысль:

«Вот она, свобода! Вот она!»

Клином врезались в толпу людей на площади и, расталкивая их, быстро шли к паперти собора. Их было не более полсотни, но они знали чего хотят, и толпа расступалась перед ними.

– Гляди! – сказали Бурмистрову. – Вон они!

На паперти, между колонн, точно пряталась кучка людей, и кто-то из них, размахивая белым лоскутком, кричал непонятные, неясные слова.

Сквозь гул толпы доносились знакомые окрики Стрельцова, Ключникова, Зосимы...

«Наши здесь!» – подумал Вавило, улыбаясь пьяной улыбкой; ему представилось, как сейчас слобожане хорошо увидят его.

Он вскочил на паперть, широко размахнул руками, отбрасывая людей в стороны, обернулся к площади и закричал во всю грудь:

– Православные! Все вы... собрались... и вот я говорю, я! Я!

Встречу ему хлынул густой, непонятный гул. Вавило всей кожей своего тела почувствовал, что шум этот враждебен ему, отрицает его. Площадь была вымощена человеческими лицами, земля точно ожила, колебалась и смотрела на человека тысячами очей.

В груди Бурмистрова что-то оборвалось, на сердце пахнуло жутким холодом; подняв голос, он напрягся и с отчаянием завыл, закричал, но снова, еще более сильно и мощно, сотнями грудей вздохнула толпа:

– Долой! Не надо!

И рядом с ним, где-то сбоку, спокойно текла уверенная речь, ясно звучали веские слова:

– Кого же ставят они против правды? Вы знаете, кто этот

человек...

Еще раз внутри Бурмистрова туго натянулась какая-то струна – и со стоном лопнула.

– Врет! – крикнул он в огромное живое лицо перед собой; обернулся, увидел сухую руку, протянутую к нему, темный глаз, голый – дынею – черен, бросился, схватил Тиунова, швырнул его куда-то вниз и взревел:

– Бей!

– наших бьют! – взвыло окурдовское мещанство. И закрыжились, заметались люди, точно сор осенний, схваченный вихрем. Большинство с воем кинулось в улицы, падали, прыгали друг через друга, а около паперти закипел жаркий, тесный бой.

– Ага-а! – ревел старый бондарь Кулугуров, взмахивая зеленым обломком тетивы церковной лестницы. – Свобода!

Вавило бил людей молча, слепо: крепко стиснув зубы, он высоко взмахивал рукою, ударял человека в лицо и, когда этот падал, не спеша, искал глазами другого.

Люди, не сопротивляясь, бежали от него, сами падали под ноги ему, но Вавило не чувствовал ни радости, ни удовольствия бить их. Его обняла тягостная усталость, он сел на землю и вытянул ноги, оглянулся: сидел за собором, у тротуарной тумбы, против чьих-то красных запертых ворот.

Неподалеку стояла кучка людей, человек десять, и среди них оборванный, встрепанный Кулугуров, отирая большой ладонью разбитое лицо, громко говорил:

– Попало ему, кривому дьяволу, довольно-таки!

На пестрых главах церкви Николы Мирликийского собралась стая галок и оглушительно кричала. Бурмистров взглянул на них, глубоко вздыхая.

Он как будто засыпал, его давила усталость, он тупо смотрел в землю и двигал ногой, растирая о камни чью-то измятую шапку.

– Всех разогнали, пока что! – кричал бондарь. – Так-то вот! Ну, айда!

Он высморкался пальцами и пошел к Вавиле, сопровождаемый товарищами.

– Куда меня теперь? – тихо и угрюмо спросил Бурмистров, когда они подошли и окружили его.

– Что – ушибли тебя? – не отвечая, осведомился бондарь.

– Куда меня?

Но раньше, чем кончить свой вопрос, Вавило почувствовал, что его крепко держат за руки, поднимают с земли.

– А вот, значит, – серьезно говорил Кулугуров, – как ты – первое – повинился нам в убийстве, а второе – драку эту начал, – ну, отведем мы тебя в полицию...

Кто-то добавил:

– Мы тебе, друг, не потатчики, нет!

Вавило взглянул на него и промолчал.

Пошли. Бурмистров смотрел в землю, видел под ногами у себя лоскутья одежды, изломанные палки, потерянные галоши. Когда эти вещи были близко – он старался тяжело наступить.

пить на них ногой, точно хотел вдавить их в мерзлую землю; ему все казалось, что земля сверкает сотнями взглядов и что он идет по лицам людей.

И как сквозь сон слышал гудение встревоженного города и солидную речь бондаря:

– А бой в сем году рано начали – до Михайлова-то дня еще недели две время...

Как-то вдруг повалил снег, и всё скрылось, утонуло в его тяжелой ровной кисее.

– Удавлюсь я там, в полиции! – глухо и задумчиво сказал Вавило.

– Еретик – всегда еретиком останется! – ответили ему откуда-то со стороны.

– Не хочу... не пойду! – вдруг остановясь, крикнул Бурмистров, пытаясь стряхнуть уцепившихся за него людей и чувствуя, что не удастся это ему, не сладит он с ними.

Они начали злобно дергать, рвать, бить его, точно псы отсталого волка, выли, кричали, катались по земле темною кучею, а на них густо падали хлопья снега, покрывая весь город белым покровом долгой и скучной зимы.

Во мгле снежной пурги черными пятнами мелькали галки.

И все работал неумолимый человек, – где-то на Петуховой горке, должно быть; он точно на весь город набивал тесный крепкий обруч, упрямо и уверенно выстукивая:

– Тум-тум-тум... Тум-тум...

*1909–1910*